

ISSN 0012-6756



**Дружба  
народов  
3/2026**



## **В номере:**

### **Поэма о ненаписанной Книге**

«Ему приснились Шоколадный Пушкин и кот Тунеядец. В золотом конусе настольной лампы лежала Книга. Фолиант в кожаном переплётё с бронзовыми застёжками. <...> Неподвижными золотыми глазами ночного убийцы Тунеядец уставился на Мамонтова и промурлыкал с проникновенной вкрадчивостью: «Ты врешь. Значит боишься. Чего же ты боишься?..» Сюжет романа Николая ВЕРЁВОЧКИНА «Шоколадный Пушкин» закручивается с возвращения героев в превратившийся в руины после развала СССР казахстанский городок, чтобы ухаживать за умирающей матерью. Братья-близнецы, в детстве одного бабушка звала бесёнком, другой был вещь в себе. Экстраверт, хватавший жизнь за хвост, теперь без семьи, без дома, без работы, но с крепкой житейской смёткой, — и интроверт, ставший вполне успешным прозаиком, одержимый мечтой написать Книгу и в результате теряющий рассудок. Как всегда у Верёвочкина — фантазмагория реальной жизни, бурлеск и горечь, вечные вопросы.

### **«Однажды он понял, что может летать»**

Так начинается повествование о жизни «плохого хорошего человека» — всемирно известного пианиста. «Детский человек» — первая глава нового романа Сергея САМСОНОВА «Страсти по Немухину» — самостоятельная новелла. Развёрнутая история, герой с багажом настоящего и прошлого. Закрытый северный город, которого нет на карте. Взросление — и нежелание взрослеть. Отец, знаменитый моряк-подводник, на долгие месяцы уходивший в океан — в вечность глухонемой вселенной, и мать, научившая сына играть на рояле, — каждый звук, рождённый её пальцами, был как живое существо. История о «тревожном, торжественном праздничном, дневном, ночном, военном, мирном, любом человеческом времени».

### **«Веди подсчёт чудес»**

Лирика Анастасии КАМЕНСКОЙ — признание в любви к природе, где всё, «и порядок, и гармония —/ похожее на рай, но будто шуточный,/ поэтому нестерпимо больно даже представить, «чтобы пол-леса пустить на варенье,/ чтобы пол-леса пустить на венок».

Энергичная, обезоруживающе-откровенная поэзия Вадима МЕСЯЦА — о поиске себя: «ты в зеркало глядишься как чужой» — и о борьбе с самим собой: «не расстраивай Господа. Не мешай его промыслу».

Поэтическое пространство Элины СУХОВОЙ наполнено памятью, где хранятся события детства, яркие переживания и будни: «...двор, и забор, и котёнок,/ И ветер, и мама в окошке...», но и мечты, и сны, и чудеса.

### **«Кокон» и его обитатели**

Поэт, филолог, исследователь новейшей истории литературы Владимир АЛЕКСАНДРОВ останавливает внимание на малоизвестном факте существования в начале 1980-х саратовской метагруппы «Кокон» (Борис Борухов, Светлана Кекова, Николай Кононов, Сергей Надеев, Александр Пчелинцев). Значимость литературных групп всегда определялась не программами и манифестами, а теми, кто входил в их состав. По прошествии сорокапятилетия со времени создания «Кокона», оказалось, что все его участники внесли значительный вклад в современную русскую литературу. Автор знакомит с историей возникновения группы и малоизвестными ранними стихами её участников.

# Дружба народов



*Независимый  
литературно-художественный  
и общественно-политический журнал*

*Основан  
в марте 1939 года*

## *Редакционная коллегия*

Адрес редакции:  
117218, Москва,  
ул. Кржижановского, д. 13, стр. 2,  
журнал «Дружба народов»  
Телефон (многоканальный):  
8-499-519-02-12

**E-mail:** [dn52@mail.ru](mailto:dn52@mail.ru),  
**Сайт журнала:**  
<http://дружбанародов.com>

Юридическая поддержка:  
Congress Consulting.  
Свидетельство о регистрации  
№ 73 от 14.09.1990 г.  
в Министерстве печати  
и массовой информации РСФСР.  
Свидетельство о регистрации  
товарного знака № 288681.  
Зарегистрировано в  
Государственном реестре  
товарных знаков и знаков  
обслуживания РФ  
12 мая 2005 г.

Отпечатано с готовых файлов заказчика  
в АО «Первая образцовая типография»,  
филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»;  
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

***Редакция не имеет возможности  
рецензировать и возвращать  
рукописи.***

***Во всех случаях полиграфического  
брака в экземплярах журнала  
обращаться в типографию, указанную  
в выходных сведениях.***

***При перепечатке наших материалов  
ссылка на журнал «Дружба народов»  
обязательна.***

Сдано в набор 20.01.2026.  
Подписано в печать 20.02.2026.  
Выход в свет 19.03.2026.  
Формат бумаги 70 x 108 1/16  
Печать офсетная.  
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1.  
Уч.-изд. л. 21. Тираж 1200 экз.  
Заказ . Цена свободная.

*Главный редактор* Сергей  
НАДЕЕВ  
Леонид  
БАХНОВ  
Ирина  
ДОРНИНА

*Ответственный секретарь* Елена  
ЖИРНОВА

*Первый заместитель главного редактора* Наталья  
ИГРУНОВА

Галина  
КЛИМОВА  
Владимир  
МЕДВЕДЕВ

*Заместитель главного редактора* Александр  
СНЕГИРЕВ

## *Редакционный совет*

Мария  
АНУФРИЕВА

Сухбат  
АФЛАТУНИ

Муса  
АХМАДОВ

Ольга  
БАЛЛА

Денис  
ГУЦКО

Вадим  
МЕСЯЦ

Фарид  
НАГИМ

Илья  
ОДЕГОВ

Валерия  
ПУСТОВАЯ

Ренат  
ХАРИС

Александр  
ЧАНЦЕВ



**ПРОЗА И ПОЭЗИЯ**

Анастасия КАМЕНСКАЯ. Как в настоящем лесу. <i>Стихи</i> .....	3
Николай ВЕРЁВОЧКИН. Шоколадный Пушкин. <i>Поэма о ненаписанной Книге</i> .....	6
Вадим МЕСЯЦ. В полях, где валялся конь. <i>Стихи</i> .....	73
Сергей САМСОНОВ. Страсти по Немухину. <i>Глава из романа</i> .....	77
Владимир ТРЕНИН. Гришина зима. <i>Рассказ</i> .....	104
О.КАМОВ. Пор. <i>Рассказ</i> .....	125
Элина СУХОВА. Веди подсчёт чудес. <i>Стихи</i> .....	130
Алексей КОЛЕСНИКОВ. Из воды на сушу. <i>Два рассказа</i> .....	133
Сергей ПОПОВ. Дом Клигмана. <i>Опыт общения с призраками</i> .....	155
Анна ЛУЖБИНА. Случайный человек с улицы. <i>Рассказ</i> .....	169
Бесо ХВЕДЕЛИДЗЕ. Морской суп. <i>Рассказ. С грузинского.</i>	
<i>Перевод Нины Шадури-Зардалишвили</i> .....	177
Александра МАЛЫГИНА. С облаками чувствуя родство. <i>Стихи</i> .....	184

**ДРУЖБА НА ВЫРОСТ**

Вис ВИТАЛИС. Белый аист, оранжевый апельсин .....	187
---	-----

**МАЛЕНЬКИМ КАРАНДАШОМ**

Алексей АЛЁХИН. Невыдуманное .....	192
------------------------------------	-----

**ЖИЗНЬ В ЛИТЕРАТУРЕ**

Владимир АЛЕКСАНДРОВ. Дети доломедеса. «Кокон» и его обитатели .....	196
Светлана КЕКОВА. <i>Стихи</i> .....	204
Николай КОНОНОВ. <i>Стихи</i> .....	209
Александр ПЧЕЛИНЦЕВ. <i>Стихи</i> .....	212
Сергей НАДЕЕВ. <i>Стихи</i> .....	218

**КРИТИКА**

Евгений АБДУЛЛАЕВ. Закон сохранения. <i>Шесть поэтических сборников 2025 года</i> .....	225
---	-----

**ПОДРОБНОЕ ЧТЕНИЕ**

Валерия ПУСТОВАЯ. Не искажи (А.Снегирёв. «По линии матери») .....	236
---	-----

**NON-FICTION PRO**

Александр ЧАНЦЕВ. Новая аристократия .....	241
--	-----

**БИБЛИОНАВТИКА**

Ольга БАЛЛА. Корабль другого в океане чувств (А.Першин. «Войти в реку дважды: Контрапункты») .....	263
--	-----

**ПРАВИЛА ИГРЫ**

Борис МИНАЕВ. Путь к отцу .....	268
---------------------------------	-----

**НА НАШЕЙ ВКЛЕЙКЕ**

«Кокон» и его обитатели

*Анастасия Каменская*

## Как в настоящем лесу

\* \* \*

Великорослы и крепки,  
как будто колокольни,  
стояли мирно у реки  
стреноженные кони.

И золотистые цветы  
в ажурной паутине  
прекрасны были и чисты,  
как будто на картине.

К земле клонились ковыли  
и на ветру дрожали.  
И бархатистые шмели  
торжественно жужжали.

И в блеске радостного дня  
солдаты на привале  
купали красного коня —  
от крови отмывали.

\* \* \*

Давно, в бесконечно далёком году  
соседи лопату забыли в саду.  
В осеннюю грядку воткнули её,  
и медленно гнило в земле остриё.

И чёрная почва тепло, как рука,  
коснулась оструганного черенка,  
древесную память ему возвратив, —  
как нежного детства далёкий мотив.

Плескание листьев и шёпот ветвей,  
и трель, что в них пел менестрель-соловей,  
пронзительный ветер, полуденный зной,  
и крики грачей, прилетавших весной,  
и корни в земле, и на ранах смола...  
Мы глянули в сад. И лопата — цвела.

---

*Каменская Анастасия Евгеньевна* — родилась в 1988 году в городе Калинин (ныне — Тверь). Окончила два факультета Тверского государственного университета: в 2004 году — филологический, в 2018 году культурологический. Куратор социокультурных проектов; занимается реабилитацией и реинтродукцией диких птиц. Автор двух сборников стихов: «Глобус» (Тверь, 2011) и «Живые существа» (Тверь, 2024). Участница Форума АСПИР «Липки» им. С.А.Филатова (2024). Живёт в Твери.

\* \* \*

Баю-баю, ляг и спи.  
По границе мрака  
ходит-бродит на цепи  
чёрная собака.

Не протягивай руки,  
не садись к ней близко.  
У собаки той клыки  
как два обелиска.

Ты ей кости принеси —  
пусть она их гложет.  
Ты собаку расспроси,  
что её тревожит.

Обратись к ней по уму,  
но не упрекая:  
ты, собака, почему  
злобная такая?

Потому что всё одна,  
в будний день и в праздник,  
потому что из окна  
дух колбасный дразнит.

Потому что человек  
обижал без дела,  
потому что целый век  
на цепи сидела,  
потому что тяжело  
злом не отвечать на зло.

### *В магазине*

Прилавки с едой. Продавщицы при деле.  
Краса и порядок. Масштаб и размах.  
И рыбы съедобные в рыбном отделе  
живут в специальных аквариумах.

Но жизнь преисполнена будней суровых  
у них, заключённых в стеклянной тюрьме, —  
у карповых рыб и у рыб осетровых  
в концентрационном аквариуме.

Позволь, эволюция, в чудо поверить,  
ты им помоги и меня успокой.  
Считается, будто однажды на берег  
ты вывела рыбу из толщи морской.

И всё изменила умелой рукою,  
как скульптор-ваятель, как маг-чародей.  
Однажды уже ты вершила такое,  
безропотных рыб обращая в людей.

Так пусть перестанет он плавать кругами,  
осётр магазинный, умён и игрив,  
и выйдет на волю своими ногами,  
постылые стёкла руками разбив.

\* \* \*

Там поле прорастает вверх ромашками,  
и ласточка над полем вверх тормашками,  
и на рассвете сонные кузнечики  
спешат размять затёкшие конечности.

Невидимая людям церемония,  
в которой и порядок, и гармония —  
похожее на рай, но будто шуточный,  
не настоящий рай, а промежуточный.

Вот ангел пролетел, крылами хлопая,  
и в мареве июльском бродят по полю  
за все грехи заранее прощённые  
животные и дети некрещёные.

\* \* \*

В роще больница. Конечно же, в роще.  
Туберкулёзникам дышится проще.  
Сосны столетние меж корпусами  
кем-то посажены? Выросли сами?

Тут на прогулке я вижу синицу,  
белку, сороку, лису — не больницу.  
Дятла, клеста, снегиря на рассвете  
вижу — и вдруг забываю о смерти.

Вот уж и будни больничные сносны,  
если в них дятлы, и белки, и сосны,  
и между сосен оранжево-синий  
лось, населяющий остров Лосиный.

\* \* \*

Для воробья одуванчики выше,  
словно деревья в лесу — для меня.  
А для скворца одуванчики ниже,  
словно деревья в лесу — для коня.

Меж одуванчиков тропы петляют,  
и в золотом предзакатном часу  
там воробьи со скворцами гуляют,  
как в настоящем лесу.

Если представить, что это деревья,  
разве захочешь их рвать из-под ног,  
чтобы пол-леса пустить на варенье,  
чтобы пол-леса пустить на венок?

*Николай Верёвочкин*

## Шоколадный Пушкин

*Поэма о ненаписанной Книге*

И я взял книжку из рук Ангела и съел её,  
и она в устах моих была сладка, как мёд, когда же я  
съел её, то горька стала во чреве моём.

*Откровение Иоанна Богослова (10:10)*

### *1. Короткий список*

...Атеист Мамонтов полз на коленях к Богу.

Путь к Богу сопрягался с непосильными препятствиями. Преодолевая страх гулко замкнутого пространства, Александр протискивал своё тело в узкую, извилистую и тёмную трубу, пахнущую нефтью. Он знал: труба завалена землёй. Но не знал, куда она ведёт — вверх или вниз, и боялся сойти с ума, застряв в медленно сужающемся стволе.

Но, добравшись до Бога, забыл, зачем хотел с ним встретиться. Растерялся.

Бог хмурился и смотрел на Александра с недоумением:

— Саша, просыпайся, аптека скоро закроется.

Мамонтов вытер ладонями глаза и подумал с досадой и отчаянием: надо было попросить, чтобы Он вернул ей здоровье. Как можно было забыть об этом?

— Я думал — ты давно ушёл. Гляжу на часы — уже должен вернуться. Выхожу — спишь на табурете в коридоре. Левая нога обута, правый ботинок в руках держишь.

— Да, да, извини, — говорит Александр чужим со сна голосом и напряжённо всматривается в человека, его разбудившего. Несомненно, это он сам, только с бородой.

---

*Верёвочкин Николай Николаевич* — прозаик. Родился в 1949 году в селе Мареевке (Северо-Казахстанская область, Казахская ССР). Окончил Казахский государственный университет. Печатается в журнале «Дружба народов» с 2006 года. Автор семи книг прозы. Рассказы из первой книги («Древоград», 1994) вошли в хрестоматию «Русская словесность» для пятого класса казахстанских школ. Лауреат «Русской премии» за 2006 год (повесть «Человек без имени») и других литературных конкурсов. Живёт в Алма-Ате.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2025, № 6.

\* Журнальный вариант

— Куда ты в одном ботинке?

Только на улице, вдохнув горький воздух осени, он приходит в себя. Несовместимое чувство свинцовой тяжести и — одновременно — невесомости.

Чтобы не опоздать, он выбрал короткий путь — через одичавший парк, превращающийся в лес. В центре парка из растрескавшегося асфальта, битого стекла, измятых пластмассовых стаканчиков и раскисших газет дыбился неухоженный памятник землякам, погибшим в Отечественную войну. Символ монолитной, но расколовшейся по некогда условным границам страны. В сколах — ржавая арматура. Сквозь налёт забвения издёвкой проглядывала надпись: «Никто не забыт...» Александр поёжился, почувствовав себя частью растрескавшегося пространства. Трещины его тела охладили сырые осенние сквозняки, пахнувшие дымом сторевшей ботвы. Грани расколов тёрлись друг о друга, ныли и дребезжали там, где должно было быть сердце. Дребезжало, шуршало и осыпалось расколотое пространство. Когда-то здесь был центр рая. Тихий, зелёный райцентр с городскими удобствами и деревенским неспешным укладом жизни, слегка припылённый ленью и скукой. Золотая середина между городом и деревней. Недостроенное Царство Божье в краю рискованного земледелия. Не здесь ли ты *в былые годы провёл в бездействии, в тени свои счастливейшие дни?*

Вместе с руинами города на осколке большой страны, как на отколовшейся от берега льдине, влажным осенним ветром Александра уносило в ноябрьскую ночь 1999 года, в новое тысячелетие.

Что вылупится из растрескавшегося мира? Что-то да проклянется. Дай бог, не мутант. Процесс необратим, разбитое не склеить. Любая утрата, смерть, катастрофа — необходимая часть обновления. То, что произошло, не хорошо и не плохо. Плохи или хороши твои мысли о том, что произошло. Посмотри на себя глазами жителя другой планеты. С расстояния в несколько сотен световых лет.

Ах, изменили, ах, предали... Скажите пожалуйста, какая неожиданность!

Люди боятся измен. Презирают предателей. А зря. Без измен жизнь невозможна. Жить — значит изменять. Постоянно, ежедневно. Любое развитие, любая революция, реформа, самая незначительная перемена — измена. Полистайте учебники истории. Кто они, наши герои, наши властители дум? Изменники. Предатели. Слава им!

Изменяйте вовремя и по-крупному. В революциях и переворотах, которые совершают герои и передовые люди, всегда есть момент измены и предательства. Чем можно стереть в душах граждан этот осадок, оскомину предательства? Объявите день измены и предательства праздником. Великим праздником. С днём изменников родины, господ! Ура, ура, ура! Счастья вам и процветания! Ваше здоровье! Приятного аппетита!

Однако будьте бдительны. Приглядитесь к юным согражданам, горячо отмечающим юбилей вашего великого предательства. К милым мальчикам и девочкам, которые под праздничный салют, шмыгая носом, неумеренно поедают мороженое. Они скоро вырастут, отменят ваш праздник и восславят новое предательство. Своё собственное. Ростки всегда предают посеянные семена. Диалектика.

Неспособные предать всегда в проигрыше. Хранящие верность тормозят развитие человечества. Позор им!

Знать бы только, — куда оно развивается, человечество.

Куда, куда... Туда.

Увы, Александр Мамонтов не был передовым человеком. Он был человеком отсталым и жил по забытым правилам: не отрекайся от прошлого и не пинай упавшего. Люди могут подумать, что ты мерзавец.

...Кратчайший путь к аптеке вёл через брошенный жителями квартал многоэтажных домов — мёртвый город. В ныне безглазых черепках из кирпича и бетона когда-то жили знакомые люди. Его жизнь была переплетена с их жизнями. Однажды он попал в аварию, и обитатели этих домов пришли в больницу, чтобы поделиться с ним, Мамонтовым, своей кровью. Кто он был для них? Да никто. Просто земляк. Где они сейчас, его земляки, дети мёртвого города? Он никогда не увидит их. Они умерли для него, не оставив после себя ничего, кроме пожертвованной для него крови. Даже могил. И он умер для них. Прозрачные души хозяев квартир пристально смотрели на Мамонтова из чёрных провалов окон. Все мы, живущие на планете Земля, земляки. Но мало кто, кроме космонавтов, астрономов и альпинистов, об этом догадывается.

Из проёма балконной двери угловой квартиры третьего этажа на Александра Мамонтова смотрела его собственная душа. Душа того Александра Мамонтова, от которого в нём сегодняшнем не осталось ни одной молекулы.

Опасайтесь коротких путей. Возможно, он прошёл бы мимо бездомной дворняжки, но его остановили её глаза, полные страдания, отчаяния и страха. Она была без ошейника, но в наморднике. Странный намордник... Пасть аккуратно и туго перемотана алюминиевой проволокой. Собачка с ужасом смотрит на Мамонтова. Влажная шерсть топорщится. Красные, набухшие молоком сосцы перепачканы грязью. Тонкие, голые ножки мелко дрожат. Мамонтов присел на корточки и, протянув руку, посвистел. Он мог её спасти. Ему ничего не стоило спасти её. Но собака не доверяла человеку.

Если бы сейчас Мамонтов встретил того, кто перемотал пасть собаки проволокой, вне всякого сомнения — убил бы его. Можно понять человека, выстрелившего в животное и разом оборвавшего жизнь. Но кому-то доставляло удовольствие долгое страдание живого существа, медленное умирание кормящей матери и её детей.

Заваленная золотой листвой аллея из берёз и акаций вела к развалинам заброшенного дома. Листва шуршала под мелким, как туман, дождём. С севера несло запахом близкого снега. Скелет высохшей берёзы зябко белел на фоне закатного неба. По дну оврага, пробиваясь сквозь бытовой хлам, журчал замерзающий ручей.

Измождённая голодом собака издали принюхивалась к пустой ладони и с ужасом смотрела на Мамонтова.

— Не бойся, — сказал он, поднимаясь с колена и делая шаг к ней.

Кровь ударила в голову, мир потемнел и качнулся. Собачка бросилась прочь. Она бежала по неупоитой листве, как по золотым водам, по шее утопая в шорохе.

Преодолев головокружение, он побежал за ней. Изнурённое долгой бессонницей тело плохо слушалось, он задыхался. Мамонтов почти настиг собачку, но она исчезла в проломе, ведущем в подвал. Из подвала несло могильной сыростью.

Он посмотрел на часы. До закрытия аптеки оставалось полчаса.

— Как себя чувствует Анна Павловна? — спросила аптекарша с равнодушным участием профессионала, знающего, что все болезни — неизлечимы.

— Не теряем надежды, — ответил он тихо и протянул листок со списком лекарств.

— Моя учительница, — улыбнулась ему старушка из очереди. — Не узнаёшь, Серёжа?

Он попытался улыбнуться незнакомке, перепутавшей его с братом.

— Красотина, — напомнила она. — А я тебя сразу узнала. Наш дом на Береговой стоял. Под железной крышей. Помнишь? Мы же почти родня.

— Да, да, — продолжал врать Мамонтов, — припоминаю.

Припомнил он только улицу затопленного села.

— Сильно изменилась? — с кокетством, несовместимым с возрастом, стрельнула глазками старушка.

Мамонтов отрицательно покачал головой.

— А ты постарел, — обрадовалась она.

Мамонтов расстегнул кошелёк. Пальцы от долгой бессонницы плохо слушались его. Досадуя на заторможенность, пытался достать деньги.

Старушонка смотрела на него с участливым любопытством:

— А помнишь, во втором классе ты мне фартук чернилами забрызгал?

«Так мы ещё и одногодки», — ужаснулся Мамонтов, покосившись на своё отражение в потемневшем окне. И отражение подтвердило: одногодки.

Запах лекарств, пропитавших бревенчатую избу, невыносим. Хочется быстрее на улицу — в осеннюю слякоть.

— Рад был увидеть, — пробормотал он.

— Тамара, — с обидой подсказала одноклассница.

И тут только он заметил, что старушка беременна.

Первая беременная женщина, встретившаяся ему в этом году.

...На обратном пути он вспомнил её, девочку в пачке из накрахмаленной марли. Взрослые кокетливые глаза на ангельском личике. Вся школа признавала за ней несомненный талант балерины: она умела ходить на кончиках пальцев и крутиться на одной ноге. Не сочетается наша маленькая жизнь с нашими большими мечтами — вселенская душа в хрупком, скоропортящемся теле.

Мамонтов шёл по набережной. По тому, что от неё осталось. Осталось немного: растрескавшийся асфальт, вспученный корнями молодой поросли вегетативно размножающихся тополей. Внизу — чёрное в чёрном — роптало водохранилище. Море. Так его звали местные. И новый город местный бард Зроль предлагал назвать Степноморском. Но старожилы не любили его песни и, страдая ностальгией, нарекли поселение Новостаровском. В память о затопленной родине, Новостаровке. Однако на дорожных указателях чья-то преступная рука под официальным названием прицарапала «Степноморск». Степное море пахло прошедшими грозами, снегом и чуть-чуть полынью. В промозглом пространстве можно было ориентироваться лишь по мерцанию карбидного фонаря браконьера, лучившего рыбу на невидимой лодке, да скудно освещённой стене плотины.

Запах сырого неба, набухшего первым снегом. Умиротворяющий шорох волн: *жи, ши* пишутся через *ы*, как слышится, так и пишется. Тебя нет. Ты — лишь глаза мёртвого жителя мёртвого города. Закрой глаза. Свернись калачиком в ноль. *Смотри внутрь себя*. В ничто. Ты на пустынном берегу реки времени. Твоя секунда проплыла мимо на оторвавшейся льдине. Ты растворился в Ноле, который вмещает в себя Всё. Ты не можешь изменить события. Но ты можешь изменить отношение к событиям. И неважно, прав ты или неправ. Что есть истина в мире, где всё относительно? Выйди из толпы, улыбнись и слейся с окружающим пейзажем, спрячься в самого себя. На этом берегу все души раздробленной вечности — будь ты Буддой или бездомной собачкой с перемотанной алюминиевой проволокой пастью — сливаются в одну Душу, возвращаются на родину. В великое Ничто. Все книги написаны и сожжены тобой, все подвиги и глупости совершены тобой. Ты автор всех стихов и анонимок, городов и развалин. Все твои плюсы и минусы сливаются в ноль. В вечность.

В бездонном мраке, который тщился пронзить светом карбидной лампы ночной рыбак, лежала сейчас Атлантида его детства. Истерзанные долгим отчаяньем

и бессонницей нервы вышли из-под контроля. Уставшие глаза видят что хотят: затонувшее село под линзой тёмной воды, дома и людей, частью умерших, а большей частью размётанных ветрами перемен по планете. Они всё ещё живут там, смотрят на него немигающими щучьими глазами со дна степного водохранилища. Ему так жаль, так нестерпимо жаль стало умирающую мать и это теряющее статус города поселение вместе с земляками со дна его памяти, погребёнными под мраком разлившихся вод. Он чувствовал, как из прорехи души жизнь необратимо утекает в прошлое.

Каждое новое поколение землян рождается на другой планете. И эта планета была уже не его.

...Утренник в старом клубе, бывшем некогда церковью.

В зрительном зале прохладно и шумно. Он — первоклашка — прячет голову в пальто. В щель между козырьком шапки и воротником выглядывают полные отчаянья глаза. Черепашка на перекрёстке. Он смотрит на занавес. И все смотрят на занавес. Но все смотрят с предвкушением праздника, а он — с ужасом. Зал требовательно хлопает в ладоши, не снимая варежек. Словно сотни озорников дерутся пуховыми подушками. Занавес колыхается... Мамонтов вжимается в кресло, прячет голову в пальто, так что щель между шапкой и воротником исчезает. Он чувствует себя трусом и предателем. Но не может оторваться от кресла. Прилип, как муха к липучке. Ему надо встать, хлопнув откидным сиденьем, и, чувствуя на себе сотни глаз, пройти вдоль рядов, взобраться по ступеням на сцену, за занавес, потому что никто, кроме него, не сможет прочесть его четверостишие.

Мамонтов смотрит на огонь браконьерской лампы и пытается вспомнить строчки. Не помнит. Какая-нибудь ерунда, сочинённая местным поэтом к празднику. Теперь эта ситуация могла бы показаться забавной. Но он, взрослый, вспоминая холодный день сорокалетней давности, снова во власти парализующего страха. Он чувствует на себе любопытные глаза, с насмешливым пониманием подсматривающие из глубины чёрной воды.

Занавес раздёрнули. На сцене его одноклассники: мальчики в белых рубашках, девочки в белых фартучках. Пар от дыхания. Смотреть на них зябко. Любовь Васильевна взмахивает рукой, и каждый по очереди выкрикивает своё четверостишие. Вот сейчас очередь дойдёт до него, и случится катастрофа. Мир рухнет. Жизнь на планете Земля остановится. Заминка. Он открыл глаза, почти умирая. Зашептала тревожно Любовь Васильевна. Но он, Мамонтов, стоит на сцене и после короткой паузы бойко молотит рифмованные строки.

После поэтического пролога начался концерт художественной самодеятельности. Всякий раз, когда ведущий торжественно выходил объявить следующего участника, из-за кулис высовывалась вертлявая Серёжкина голова. Он втягивал губы, косил глаза и шевелил ушами, вызывая оживление в зале. Но чья-то властная рука решительно увлекала его в тень кулис. Как только в плавном течении концерта случилась пауза, Серёжка выскочил на сцену. Весело оглядел зал, набрал воздух в лёгкие и, грассируя, заорал что было сил: «Стихи “Про Фому и про Еррому”. Исполняет Сиррожа Мамонтов».

Поскольку стихи следовало петь, номер этот правильнее было бы назвать оперой. Свет не слышал истории печальней и поучительней. Два брата решили на лодке переплыть реку. Но так как ссорились по любому поводу и делали всё назло друг другу, на середине переправы лодка начала тонуть. Сценку нужно было разыгрывать вдвоём, но Серёжку это не смущало. Он один отдувался и за Фому, и за Ерёму. Пропоеёт: «А Ерёма стал тонуть, Фому за ногу тянуть», — и тут же изобразит мучения бедного

Ерёмы. Когда же Фома отвечал: «Ты, Ерёма, не тяни, ты порвёшь мои штаны», — Серёжка энергично дрыгал ногой, отбрыкиваясь от воображаемого утопленника. Несмотря на то, что переправа завершилась трагически («...А Фома пошёл на дно, а Ерёма там давно»), зал был в восторге.

Любовь Васильевна из-за кулис делала зверское лицо и властно манила самозванца рукой. Но бесёнок, желая закрепить успех, объявил: «Басня дедушки Крылова “Мартышка и очки”. Исполняет Сиррожа Мамонтов!» Если бы дедушка Крылов сидел в зале, вряд ли бы он признал своё авторство. Чтец переврал всё, что можно было переврать. Зрители ликовали.

Серёжка исчерпал свои знания в области литературы, но уходить со сцены не хотел. И он прокричал в зал последнее, что знал:

По деревне шла и пела  
Тётя здоровенная,  
Попой за угол задела —  
Заревела бедная.

Презрев правила приличия, Любовь Петровна выбежала на сцену, схватила его за руку повыше локтя и повлекла прочь. Буксируемый Серёжка передвигался боком и вприпрыжку, приставным шагом, успевая кланяться и корчить уморительные рожи. Зал хлопал варежками, топал валенками и радостно вопил: «Бис, рыжий, бис!»

В мире не найти мальчишек, более похожих лицами и не схожих характерами. Он, Сашка, стеснительный трус, тихоня и плакса, любит одиночество, вечно прячется по укромным местам. Даже в войну играет сам с собой — и за наших, и за ненаших. Но сражения эти до того тихие, что соседи и не подозревают об ужасном кровопролитии за смежным плетнём. Серёжка — бандит. Так его зовут соседки: «Анна Павловна, уймите своего бандита или я за себя не ручаюсь! Опять он моему Петьке нос расквасил. Сколько можно?!» Всё валят на него. «Анна Павловна, ваш бандит моему коту хвост отрубил». — «Бог с вами, Михайловна! Вы, что же, сами видели?» — «Да кто же, кроме него?» Серёжку не надо искать. Он ничего не умеет делать тихо. Где пожар, шум, гам, драка, война, — там и он, задира и заводила. Но больше всех от него достаётся Сашке — тот всегда под рукой. Бабушка ладошками всплеснёт в недоумении: опять? По её представлению, в каждом человеке поровну от ангела и от чёрта, но в случае с внуками-близнецами ребёнок словно бы раздвоился. При этом она, простая душа, больше любила бесёнка Серёжку: он что думает, то и говорит, что говорит, то и делает. Никаких тайн и загадок, весь вывернут наружу. Не то что Сашка, послушный тихоня, комок без ключей.

Вот и всё. Его класс на сцене, а он прячется в зале, на последнем ряду. Катастрофы не случилось, но к страху и стыду добавилась жгучая обида, смысл которой понятен Мамонтову лишь сейчас. Без твоих слов можно обойтись. Твоё существование необязательно. Нет ничего, что бы за тебя не сделали другие. Походя. И даже не заметят твоего отсутствия. Сиди, трус, сиди, спрятавшись в пальто.

...Мамонтов трясёт головой и возвращается из прошлого в 1999 год. Здравствуй, будущее, здравствуй. Здравствуй, прекрасное далёко.

Из-под земли доносится щенячий скулёж. Он проходит мимо развалин дома, в подвале которого прячется собачка с перемотанной проволокой пастью. Слышать плач обречённых существ невыносимо. Надо вернуться с фонариком. Ночью поймать её проще.

Внезапный, как срыв со склона, рояль рассыпал ноты по ветру. Под звёздным ковшем, переполненным дождями, замерцало окно. Последний обитатель мёртвого города, старая учительница, лишённая музыкальной школы и учеников, беседовала со Вселенной на языке Шопена. Души земляков, улетевших на исторические галактики, внимали ей.

...У постели матери они с братом дежурили по очереди. Спать приходилось урывками. Сутки дробились. Время, потеряв привычный ритм дня и ночи, разбилось вдребезги. Осколки его вращались в бешеном круговороте.

Была такая забава в детстве: он втискивался в круг автомобильной камеры, изо всех сил упираясь руками, ногами, спиной в упругую резину, и мальчишки толкали её с пологого берега. Камера катилась, ускоряясь и подсакивая, описывала тошнотворные мёртвые петли, земля и небо менялись местами, перекачивались. Страшнее всего было видеть воду над головой. Она должна была пролиться, но не проливалась. Река всё быстрее и быстрее взлетает в небо, кровь приливает к глазам, вискам и затылку. Мамонтов изо всех сил жмурил глаза и ждал момента, когда гудящая от ударов камера подпрыгнет в последний раз и спасительный всплеск остановит дикий хоровод. Несколько секунд он не понимал, где земля, где небо, где вода, где воздух. Вращение продолжалось, перемешивая пространство и время в хаос.

Нечто подобное он испытывал сейчас, отрешаясь от тяжёлого сна.

Братья Мамонтовы не встречались последние пятнадцать лет, и, может быть, не встретились бы до конца жизни, если бы у Анны Павловны не случилось кровоизлияние в мозг.

После смерти отца, случившейся в год развала Союза, Мамонтовы каждый год навещали её, предварительно согласовывая время отпусков. Ася с мужем, учителя, приезжали всей семьёй на летние каникулы из Заполярья. Александр, чтобы сгладить разлуку, предавал ей постепенность, прибывал, накопив отгулы, из южного города в конце августа и оставался на сентябрь. Заядлый спиннингист и грибник, он любил одиночество и осень. Правда, был в этих осенних отпусках очень неприятный момент: ему приходилось уезжать последним, оставляя маму одну на вокзале. Сергей же предпочитал всем видам отдыха подводный лов. Он был первой ласточкой, предвещающей скорый прилёт стаи. Отпуск зимой — большая жертва. Однажды он написал Александру: как же я соскучился по нашей северной дикой вишне. Младшего, Петра, до тех пор, пока он с женой-немкой не уехал в Германию, вообще никто не спрашивал, когда он намерен отдыхать. Когда скажут, тогда и отдохнёт.

Анна Павловна эти визиты детей истолковывала по-своему. И когда они заговорили о переезде, долго сопротивлялась, полагая, что не имеет права лишить их отчего дома: «Вот перееду, а вы никогда больше не соберётесь вместе». О чём ты, мама? Какой дом? Страны нет. Но в неё вселился дух японского самурая, охранявшего объект на необитаемом острове. Соотечественники о проигранной войне давно забыли, а он продолжает сторожить в девственных джунглях никому не нужный склад. Анна Павловна надеялась: всё уладится, вернуться прежние времена, а вместе с ними и Ася с семьёй. Хороша же она будет: дочь вернётся, а дома нет. Чем безлюднее делался Вдовий переулок, тем труднее было оторвать её от дома. Но с каждым отпуском Мамонтовы чувствовали приближение срока, когда переезд станет необходим. Неотвратимость его особенно очевидна была для Петра и Сергея: они видели, каково приходится стареющей матери зимой.

Снега заносили старый дом по самую крышу. Центральное отопление и водоснабжение отключены. Приходилось топить печь и ходить за водой. Колодец вырыли на соседней улице. Однако новые власти вскоре спохватились. Мы рынок строим или что? Опустили в шахту колодца трубу и завалили сначала песком и гравием, а потом глиной. Над колонкой поставили будку. В будку посадили кассиршу. Подходишь, подставляешь под трубу, торчащую из будки, ведро или флягу на саночках. Кассирша в форточку выглядывает, оценивает опытным глазом, на сколько литров ёмкость. Платишь согласно прейскуранту, и хозяйка подземных вод открывает краник.

Опасности подстерегали старую женщину на каждом шагу. Чего стоила одна наледь у колонки. Но страшнее всего была бы неожиданная болезнь: печь нужно топить дважды в сутки. Конечно, соседи всегда придут на помощь. Не дадут замёрзнуть. Но и соседи были такими же пожилыми одинокими людьми.

...Повесив на ручку двери пакет с лекарством, Мамонтов растирает задеревеневшее лицо руками, пытается улыбнуться. Нельзя такое лицо показывать другому человеку.

— Иди поешь и поспи, — говорит брат и тоже разглаживает ладонями лицо.

Мама открывает глаза, в тревоге оглядывает пустые стены:

— Надо уезжать, надо уезжать, это чужой дом. Здесь оставаться нельзя. Скоро придут новые хозяева, а мы не выехали. Серёжа! Серёжа!

Она не узнаёт сыновей и ругает их, принимая за грузчиков:

— Выносите вещи. Машина вот-вот приедет. О чём вы думаете? Придут новые хозяева, а вещи не вынесены. Где Серёжа, почему не приехал Серёжа? Позвоните Серёже. Помогите подняться.

И внезапно засыпает. Лицо остаётся таким же озабоченным и измученным.

— Да, мама, эти бы слова да чуть раньше, — вздыхает Сергей. — Поспи, Саша. Свалишься, что я буду с вами делать? Я сейчас понял: лучший способ заботиться о здоровье родных и близких — это забота о своём здоровье. Слава эгоистам!

Александр проходит в пустую гулкую комнату и не раздеваясь ложится на голую сетку кровати, пристроив под голову «Советский энциклопедический словарь». «Надо бы взять фонарик, — медленно думает он. — Ночью её легче поймать. Ослепить и поймать. Надо кусачки поискать в кладовке». И тотчас же из беспросветной реальности проваливается в спасительную бездну кошмара.

...Идёт первый снег. Ребёнок лепит снежок. К снежку прилип жёлтый лист. Ребёнок катит снежок по влажному снегу. Растёт, поскрипывая, снежный ком. С окрестных домов бегут дети. Снежок уже выше крыш. Позади чернеет и парит полоса земли. На снежный шар налипают всё, что встречается по пути: листья, кусты, ограды, столбы с проводами, собаки, дома с людьми. Накручиваются леса, посёлки, железнодорожные пути, города. Весёлые дети толкают шар, и он катит и катит, поскрипывая. Полоса сзади всё шире, всё черней. Снежная глыба достаёт облака. По мере того, как она увеличивается, земной шар истончается, словно картофелина, с которой срезают кожуру. И вот, намотавшись на снежок, планета исчезает. Грязный, перемешанный с сырой землёй и с влипшими в него людьми и строениями, летит снежок, вращаясь, в чёрной пустоте.

— ...Проснись, Сашка, — тормошит его брат. За спиной — золотой проём двери. — Света звонит. Не хотел тебя будить, но она говорит, это важно.

— Тебе звонили из Москвы, — сообщила новость жена.

Где Москва и где он. И кто мог позвонить из Москвы? Всё равно что позвонили с Марса. Кому ты там нужен, на Марсе?

— Ты вошёл в короткий список литературной премии Содружества.

*Вадим Месяц*

## В полях, где валялся конь

### *Весна*

Весна взхлёб глотает рыбу,  
роняя косточки в сугроб,  
что больше не похож на глыбу  
и недовольно морщит лоб.  
Он сходит медленно с лица,  
и мы теряем свои лица,  
когда нам третью ночь не спится  
от водки с привкусом свинца.  
Где ты, дорога без конца?  
Женитьба, смена архетипа?  
Когда без хохота и всхлипа  
нас гибель ловит на живца.

### *Стансы*

Животные мне больше не друзья.  
Их тени скрылись в мраке подворотен.  
В них нет души. И ты сейчас свободен  
от счастья и от собственного я.

Ты в зеркало глядишься, как чужой,  
и ощущаешь грубую предметность  
большого мира, что лишился слов.  
От мира осквернённого  
душой  
бежишь, предпочитая незаметность,  
как верную основу всех основ.

---

*Месяц Вадим Геннадиевич* — поэт, прозаик, переводчик, руководитель издательского проекта «Русский Гулливер». Родился в 1964 году в Томске. Окончил Томский государственный университет, кандидат физико-математических наук. Автор более 20 книг стихов и прозы, среди которых «500 сонетов к Леруа Мерлен» и «Дядя Джо. Роман с Бродским», «Поклонение невесомости» и «Хроники Русского Гулливера. Поэзия или смерть». Лауреат ряда отечественных и международных премий. Живёт в Москве.

Кто пристально взглянется в старый след,  
кто, сбросив груз, легко пойдёт по следу,  
в подземной глубине найти восток,  
в котором только погребальный свет,  
не верующий в скорую победу.  
И жёлтый, как у курицы, желток.

Нас с детства ослепляет красота,  
как глупая женитьба перед казнью,  
как треснувший под небом потолок.  
Апостол Павел не встречал Христа,  
когда с трудолюбивой неприязнью  
перечеркнул, что вымолвить не смог.

\* \* \*

Жизнь рассеяна в космосе,  
        словно снежная пыль.  
На светящемся компасе  
        обозначился штиль.  
Балансир равновесия,  
        мантры зыбкий покой.  
Никакая конфессия  
        не честнее другой.  
Деревя допотопные,  
        как народы, мудры.  
Ни на что не способные,  
        сточены топоры.  
В сердцевине булыжника,  
        как на солнце, тепло.  
И в глазах чернокнижника  
        затвердело стекло.  
Подражая Везувию,  
        открываются рты.  
Только мёдом безумия  
        не насытишься ты.  
Высыхая от жадности,  
        рушась в жёлтую рожь,  
от своей заурядности,  
        благолепной, как ложь.  
Хороводы надорваны,  
        как девиц голоса.  
Вслед за белой чёрная  
        тянется полоса.  
И грибница великая,  
        подрывая ледник,  
по-кошачьи мурлыкая,  
        оплела материк.

### *Час расплаты*

Тут пятаками о пристенок  
стучит дворовая шпана,  
скупая души за бесценок  
в остатке сладкого вина.

Нечеловечьей теплотою  
забор дощатый отдаёт,  
и под чугунную плиту  
бурлит речной водоворот.

Горят тюльпаны и заплаты,  
в мольбе источены до дыр.  
И наступает час расплаты,  
пронзая радиоэфир.

Петух кричит, собака лает.  
Во тьме клубится тишина.  
И до сих пор никто не знает,  
как начинается война.

Она совсем ещё ребёнок,  
что в слове «да» читает «нет»,  
когда в тиши бензоколонок  
к виску подносит пистолет.

### *Мимолётное*

Не расстраивай Господа.  
Не мешай Его промыслу.  
Ниспадая до шёпота,  
не миндальничай попусту.  
От судьбы не отмажешься,  
на груди она выбита.  
От вина не откажешься,  
если в землю не вылито.  
Я смиряю амбиции,  
мир крещу троеперстием:  
уступаю позиции  
торопящимся бестиям.  
В переулках афишами  
проступают проплешины.  
Мы никем не услышаны  
И на ценность не взвешены.

## *Сибирь*

Для грешников придумана Сибирь  
какими-то нетвёрдыми умами.  
На дно мешка упрятанный Псалтырь,  
набитый непонятными псалмами.

Плывает на фарфоре апельсин,  
что ярче солнца светит негодяю.  
Есть мир, куда вернётся Божий сын,  
но где он, я доподлинно не знаю.

Я не умею думать и кричать  
одновременно с чтением газеты.  
Мне на уста наложена печать,  
мне на глаза наложены монеты.

Мертвец — святого духа черновик,  
но от него осталась лишь кликуха.  
В его улыбке виден материк,  
разрезанный от уха и до уха.

Нет на земле дороги в никуда,  
известной звездочёту и сатрапу.  
И наугад голодные стада  
на пастбища бредут, как по этапу.

*Сергей Самсонов*

## Страсти по Немухину

*Глава из романа\**

### *Детский человек*

Однажды он понял, что может летать. Подъёмная сила приходила извне, не из души, а как пронизывающий ветер всего небесного пространства. Жестокий вихрь поднимал его над домом, над железными скатами крыш, надо всеми огнями, над ночью, и сердце падало от страха и как будто уже разбивалось о землю, прежде чем разбивался он весь. Но чем сильнее разгоралась скорость его неукротимого падения, тем безжалостнее восходящий поток выталкивал его обратно в высоту, туда, где даже звёзды слепнут, теряя друг друга из виду, туда, где не воздух, а твёрдое, лютее мёрзлого железа, вещество, и вселенский сквозняк выдувал мозг из костей, и вот уже душа его оголялась на этом ветру, но, цела-невредима, уносилась всё выше и пела от чуда непрерывающейся жизни.

Когда же, крикнув сердцем от обмана своей веры, он всё-таки срывался вниз, то, страшно соударившись с землёй, сей же час просыпался, а вернее, сквозь сон понимал, что пружины кровати поймали его, что ему невозможно исчезнуть из мира, как невозможен и другой он сам.

Когда и как он стал собой, когда и как заговорил, он не знал и не помнил. Быть может, сначала запел, а потом уже заговорил. А запел потому, вероятно, что понял: его требование удобства для себя звучит намного действеннее, если так или иначе согласовано со всею той средой, в которой пребываешь.

Среда эта почти всецело состояла из тепла и света, которые однажды обрели и никогда уж не теряли образ женщины с переменчивым и постоянным, как солнце, лицом, с подстриженными шапочкою волосами цвета мокрого песка и как бы изменявшими свой цвет от настроения серо-зелёными глазами. Порой в них

---

*Самсонов Сергей Анатольевич* — прозаик. Родился в 1980 году в Подольске. Автор нескольких романов, среди которых «Железная кость» (2015), «Соколиный рубеж» (2017), «Высокая кровь» (2020). Лауреат премии журнала «Дружба народов» и премии «Ясная Поляна» (2019) за роман «Держаться за землю» («ДН», 2018; № 8, 9, 10). Участник проекта АСПИР «Творческие командировки». Живёт в Москве.

\* Роман «Страсти по Немухину» готовится к публикации в издательстве РИПОЛ Классик.

обнаруживалось сходство с сердитыми глазами кошки, но не всякой, а той, что имеет котят. Будто и там, и там, под голой кожей человека и под шерстью, скрывается одно и то же существо, точнее, одна и та же забота. Смеющиеся, радостные, сонные, устало-равнодушные и даже обзлѣнные, они, казалось, мимо воли стерегли тебя, излучая тревогу и страх одиночества — неизбежного, если тебя потеряют, и что у кошки в выводке было много котят, а ты у матери всего один, означало лишь большую силу вот этого страха.

У неё очень скоро обнаружилось свойство стеснять его, да и прямо вязать по рукам и ногам чрезвычайной опекой, притягивать к себе за шарф ото всякой воды, даже лужи, даже на совершенно ровной поверхности, как если бы его могла схватить и поглотить сама земля, — а также то и дело усмирять предупредительными выстрелами глаз, кошачьим шипением, шиканьем, мучительными вздохами и даже щипками — с единственной, похоже, целью привить ему учтивые манеры. Но разве же это могло перекрыть её всю — в крепдешиновом платье и лаковых лодочках, в переднике, в цветастом кимоно, — всплывающую в комнату с дымящейся кастрюлей, полной картофельных очистков, над которыми надо дышать, сидя меж материнских коленей в устроенном из одеяла тесном, жарком чуме, разевая на полную рот и выкуривая злого духа болезни из лёгких? Разве это могло перекрыть её руки, которыми, намоченными водкой, она поочерѣдно растирала ему ноги, не успокаиваясь и не уставая, пока он не переставал дрожать от пробирающего холода?

Ещё одним неотменимым, пусть и надолго пропадавшим, человеком был огромный, тяжѣлый, чѣрный каперанг — с лицом столь же твѣрдым, сколь было мягким и уступчивым всему лицу материнское.

Других мужских людей, не моряков, первоначально вообще не находилось в мире: весь дом и улица были полны мужчин в чѣрных, как гуталин, долгополых шинелях с двумя рядами жѣлтых пуговиц и в чѣрных же фуражках с лаковыми козырьками и позолоченными «крабами». Отец был первым среди них — не командиром надо всеми этими морскими офицерами, а именно первым. Не потому, что в его облике была таранящая сила ледокола, а морская форма сидела на нём красивее, чем на других, а потому, что всем было известно, кто такой Немухин.

И он, его сын, конечно, тоже был Немухин, кость от кости отца. Что звать его Матвеем, ни для кого, помимо матери и Нюры, не означало ничего, и только когда его спрашивали, как фамилия, то, услышав ответ, говорили: так вот чей ты сын.

Подводная лодка отца уходила в поход, и они оставались одни. Всё находилось в ведении матери и замещавшей её тѣтки Нюры: чугунные сковороды и кастрюли, висящие над газовой плитой, запасы гречневой крупы и крапчатой фасоли, его, Немухина, пальто, ушанка из чѣрного кролика, валенки в непромокаемых калошах, в два слоя вязанные варежки на бельевых резинках, продаваемых в рукава, чтоб ты их, варежки, не потерял в сугробе, вообще все носильные вещи, постельное бельѣ и праздничный фарфор в пропахших пылью и сухими мѣртвыми цветами недрах огромного буфета, занимавший треть комнаты рояль «Красный Октябрь» и швейная машинка «Зингер», с которыми мать управлялась с одинаковой лёгкостью — так, что и клавиши, и ручка, и педали, и бешено шшивавшая материю игла становились частями её самоѣ, а может быть, напротив, её руки, прилаженные к клавишам или к маховому колесу, отделялись от тела, как будто не они владеют инструментом, а ими овладело непонятное бешенство точности. Отца же не было и много дней, и много недель, и жили они так, словно его и вовсе нет, и даже так, словно отец им и не нужен.

Немухин ползал по ковру, расставляя своих оловянных солдат и матросов, распластывался, замирал, прикинув ухом к половицам, ощущая их связь со всем деревом в доме и со всеми деревьями в мире, со всей поверхностью земли и со всеми людьми, которые ходят по ней, и со знакомыми, и с незнакомыми, но не с отцом. Земля везде была одна и та же, такая надёжная и непрерывная в своей неподвижности, а вот отец ушёл с неё. Столь великая масса воды отделяла их всех от отца — не только по поверхности, но и по не дающейся воображенью глубине, — что от Немухина, раздавленного ею, не оставалось ничего.

Естественно, он знал, что прочный корпус лодки способен выдержать всю тяжесть океанских течений и что отец умеет вычислить своё место под звёздами с меньшей точностью, чем мать — длину стежка на глаз, что воля его сильнее всех людских понятий о возможном и невозможном и что, даже когда его «Шуке» немецкими минами оторвало гребные винты, он дошёл до родимого берега под брезентовым парусом на перископе.

Но большая вода уничтожала это знание, и как ни напрягал Немухин слух — вразити, вкорениться душой в далёкую душу отца, окликнуть его сквозь холодную тьму, сквозь молчание рыб подо льдами, — безмерной глухотой давила на него, просачиваясь между сиротливых рёбер, словно в проклёпанные швы корабельной брони.

В такие минуты ему отчаянно хотелось прилепиться к матери, которая, он видел, и сама не отрывалась от машинки совсем не потому, что надо было что-то залатать или построить, а для того, чтоб сшить разлуку. И он и сам не замечал, как начинает петь внутри себя, напряжённым гудением доводя до неистовства поршни в цилиндрах воображаемого дизельного двигателя и возгоняя в своём сердце такую вызволяющую силу, что перед ней не устоят даже ледовое безмолвие и воцарившаяся в мире раньше времени ночь.

А потом был звонок — телефонный ли, в дверь ли, — и он, опережая мать, кидался открывать, и вся квартира заполнялась морскими офицерами, детьми их и жёнами в синих горошковых и затканых цветами платьях, составлялись столы и ложилась на них безупречная скатерть, выставлялись из горки хрусталь и тарелки расписного фарфора, и отец двумя пальцами выкручивал засевший намертво шуруп из прижимной скобы на трёхлитровой банке с яблочным компотом, заводя всю их жизнь, как часы.

Ему, конечно же, хотелось встречать отца на берегу, и так же сильно — провожать в поход, и тот самый день, когда мать первый раз взяла его с собою к морю, вместил в себя неизмеримо больше, чем вся предыдущая жизнь.

Вначале он увидел железную дорогу. Холодным светом отливающие рельсы, промазанные дёгтем шпалы и бетонные столбы, словно обязанные своим существованием друг другу, объединённые в непроницаемое братство, в котором состояли и натянутые меж столбами провода, полосатые стрелы шлагбаумов и семафоры, похожие в анфас на воткнутые в землю черенками штыковые лопаты, а в профиль — на скворечники с тремя окозыренными отверстиями.

Провода терпеливо таили в себе трепетание звука, и внимательный воздух над пустыми путями непогрешимо доносил до слуха паутинно-тонкий звон никак не разъяснимого происхождения. И вот из-за края обозримого мира, где зарождался этот тихий, будто сам себя остерегающийся звон, оттуда, где небо смыкалось с землёй и рельсы сходились друг с другом, пришёл взволнованный гудок, и там, вдали, на самой грани видимого, показался поезд. Он будто и вовсе не двигался, медлительный, как спирт в термометре, не пересекший ни единого деления шкалы, и — не успел Немухин задохнуться ветром и восторгом — сокрушил всё его существо ураганным налётом,

но и немедля пристроичил к земле остервенелым дробным грохотом, иначе бы Немухин, наверное, и вправду улетел. Машина, которая может работать сама по себе — без людей, непрерывно и вечно. Закопчённые грани вечной красной звезды и поступательная мощь локомотива с неумолимыми толчками и кивками колёсных рычагов. У каждой железной детали свой голос. Названий он ещё не знал, а голоса, столь удивительно несхожие между собой и поразительно согласные друг с другом, уже были. Состав уже пропал из виду, а его громовое железо продолжало звучать в голове, и время и летело, и не двигалось, пока не отмерли в Немухине все корни столь глубоко прижившегося грохота.

Железная дорога привела в пространство таинственно-умного хаоса: расходящихся в разные стороны, как по чертёжному лекалу, изгибающихся рельсов, изветренных серых пакгаузов, несметных ящиков с неведомо что означающими буквами и цифрами на дощатых боках, вагонов, цистерн, канатных сетей, решётчатых жирафов-великанов. Необозримое пространство порта скрежетало цепями и выло сиренами, а оттуда, куда они с матерью шли, накатывал как будто шум несметных крыльев, размахом каждое в полнеба.

На пути у них встала ветровая стена, и он почувствовал свой истинный размер, а заодно и всей земли, на которой застыл среди других, таких же маленьких людей.

Он давно уже знал многих женщин и их тепло укутанных детей в молчаливой толпе провожающих, но лица у всех были новые — и не только от ветра и холода.

Он увидел оркестр моряков — тоже маленьких, несмотря на их рост и широкие плечи, с упрятанными в чёрные воротники носами и красными замёрзшими руками. Они определённо были обречены на поражение, но верили в необходимость сражаться с захлестывающим, неумолимо постоянным ветром, со всем этим безжизненным пространством, безмерность которого — гибель для звука.

Он увидел построенный на берегу экипаж и огромную чёрную лодку, которая, омытая волнами с перехлёстом, казалась не громадой воронёного железа, а живорождённым чудовищем, передвигающимся силою своих плавников. Наконец он увидел отца — в такой же, как у всех, штормовке с расстёгивающимся меховым капюшоном, тот двигался так, словно ему и было предназначено разделить всех людей на тех, кто останется здесь, на земле, и тех, кто погрузится вместе с ним под воду.

Отец не замечал их с матерью — не потому, что не смотрел в их сторону, а потому, что уже, кажется, смотрел сквозь них, как человек, которого здесь нет, — но вдруг его карие пёсы глаза остановились на Немухине со странным выражением, похожим на презрение, точно отец не мог поверить, что это и есть его сын. Но то было, конечно, не презрение, а как когда не хочешь уходить, но не можешь остаться.

Пришли два старших офицера, — и отец рапортовал им с дерзкой холодностью уходящего в море. Оркестр заиграл «Марш подводников» — так слабо и нечисто, с такими срывами на обрекающее карканье ворон, но и с таким упорством крохотного человеческого тепла перед лицом большого холода, что Немухин заплакал от беспомощной нежности к музыке.

Загрохотали сходни под ногами моряков, исчезающих в люках, и вот на выпуклой спине подлодки не осталось никого, и наглухо задраенная чёрная громада неуловимо ожила, просто слишком большая, чтобы движение её стало заметно глазу в первую минуту. Утюг, разглаживающий простыню без руки хозяйки, — вот как она пошла, и долгое гладкое тело её всё тянулось у Немухина перед глазами, пока не стало видно беглую клокочущую борозду кильватерного следа. Вода за великанской бабочкой хвостовых лопастей закипала, но сколько бы ни было взбито тонн белой пены

за кормой, след этот простывал, как не было. И лодка делалась всё меньше, пока не превратилась в еле различимую, не чёрную, а серую точку, и он так и не понял, погрузилась ли лодка под воду или же просто растворилась в пустоте.

Ему не хотелось никуда уходить, — и будто бы уже не из надежды различить на горизонте хоть какой-то знак отцовского присутствия, а он и сам не понимал, зачем продолжает стоять на огромном ветру. Что можно найти в пустынном наступлении воды на волнолом или в бегстве её к берегам непроглядно далёкого, быть может, вообще не существующего мира.

Тяжёлая вода, её пустая бесконечность, ничего не давала ни взгляду, ни слуху, а только медленное освобождение ото всего, что знаешь о самом себе, от мыслей об отце, о том, как долго им теперь придётся его ждать.

Море пело о собственном времени, в котором нет ни «долго», ни «давно», ни «завтра», ни «вчера», ни дней, ни миллионов лет, и в неподъёмном его гуле не было ни жалобы, ни жалости — ни к морякам вдали за горизонтом, ни к их жёнам и детям, оставшимся на берегу.

Оно никому не сочувствовало, но в пении его была неизъяснимая безысходная грусть, так как нет одиночества большего, чем одиночество глухонемого. Однообразными катками своих волн оно гасило и смывало все другие звуки: и корабельные гудки, и скрежет якорных цепей, и крики птиц, — но никого не унижало, потому что равняло с собой, по себе. Оно в одно и то же время леденило душу и подавляло страх замёрзнуть, вмуровывая Немухина в свой шум, как в камень, непроницаемая холодность которого — его обыкновенное и, в сущности, единственное состояние.

Не помня даже собственного имени, он и немел, и глохнул, но в нескончаемом мерном шуме, уже не отличимом от совершенной тишины, вдруг начиналось самонарождение других, берущихся неведомо откуда голосов — сначала одного, потом второго, третьего и вот уже несметных шорохов и вздохов, отщеплявшихся от ровного плеска воды и даже от безмолвия холодного, всегда пустого неба, и каждый вздох и шорох был подобен предыдущему и следующему, как волны прибоя друг другу, и каждый был неслыхан и неповторим, как в море волн не может быть и двух до капли одинаковых.

Идя домой, он думал об отце. Мало того, что подводная лодка подобна исполинскому киту, но и сам человек под водой может быть только рыбой. То есть должен научиться видеть, слышать, чувствовать как рыба. Ведь рыбы живут без света, а если и видят хоть какой-нибудь свет, то недалеко и неглубоко. Однако откуда-то знают, где их, рыбий, корм и как им уплыть от сетей, гарпуна и крупного хищника. Выходит, всё слышат. Хотя и говорится «от селёдки ухо», это не означает, что у рыб нет ушей, ведь и у людей наружу выступает одна раковина, а лабиринт уходит глубоко под кость. А может, рыбы слышат всеми нервами, самым своим хребтом — той длинной толстой ниткой, которую Нюра вытягивает из распластанной тушки вместе со всеми потрохами. Да и как бы там ни было всё у них, пучеглазых, устроено, в подводной тьме они ориентируются не хуже, чем птицы в своём воздушном океане. Вопрос: каково человеку, чьё зрение, как бритвой, обрезано поверхностью воды, то есть ограничено длиною перископа. Чем глубже погружаешься под воду, тем непроглядней, беспросветней окружающая ночь, её неведомо что означающая и предвещающая тишина. Которая уж если и поёт, то — так же оглушительно и даже много тяжелей, чем море на поверхности, грохочущими глыбами, скрежещущими льдами заваливая все твои слуховые проходы, раскалывая череп и раздавливая мозг,

---

*Владимир Тренин*

## Гришина зима

*Рассказ*

### 1

«Ох уж эти поэты, и не спится им», — думал Григорий, наблюдая кружение снега в свете фонаря. Окно его комнаты выходило на пустырь, недавно очищенный от леса, где планировалось строительство большого квартала, а пока был поставлен забор и столб освещения. Улица заканчивалась домом Григория. Ночь, одинокий фонарь и снег. Не хватало аптечной вывески с мерцающим крестом, картина бы сложилась, но аптека будет позже, по новому широкому бульвару вырастет грядка из аптек, цветочных лавок и пивных круглосуточных разливаек.

Он прижался лбом к холодному стеклу, смотрел вниз на снежные отвалы и белую дорогу, теряющуюся в темноте. За декабрь выпало очень много снега, городские службы не справлялись, не хватало машин, чтобы вывозить его за город, и вдоль улиц на газонах к новому году сформировался брусстер выше человеческого роста. Маршрутки высаживали пассажиров раньше по требованию, но с новыми вводными незапланированные остановки запретили, и правильно сделали. Люди выскакивали в случайном месте, оказываясь один на один с ледяными горами, которые надо было штурмовать, некоторые сдавались и брели по проезжей части до ближайшего перекрёстка, раздражая и без того нервных водителей.

Хлопья носились в освещённом круге не как частицы мёртвой природы, — они казались живыми, колыхались кудряво, затейливо, будто мотыльки вокруг огня, тысячи и тысячи белых мотыльков. Траектория движения снежинок повторялась, словно Гриша просматривал коротенький видеоролик до конца и начинал сначала. «Матрица опять сбоят», — подумал он, лёг на диван и закрыл глаза. Обидно, и поспать время есть, а не хочется. Сегодня последний рабочий день в году и праздник на работе. «Встречу нового тысячелетия необходимо провести достойно», — так сказали в бухгалтерии, а, как известно, слово главбуха на бюджетном предприятии иногда весомее директорского.

Григорий покрутился, пытаясь удобнее устроиться, но сон никак не шёл. Виноват в раннем подъёме был поэт Вадик Афонин, друг со двора, мастер спорта

---

*Тренин Владимир Витальевич* — прозаик, инженер-геолог. Родился в 1977 году. Окончил КГПУ и аспирантуру при ИВПС КарНЦ РАН. Автор книг «Пять ржавых кос», «Исцеление инженера Погодина» и «Ягодные Земли», вышедших в 2020 году; «Король шмелей» (М., 2023). Живёт в Петрозаводске.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2025, № 1.

международного класса по выносу мозга. Вадик старше Гриши, успел поучиться в университете на биологическом, бросил, бегал от армии, потом ему надоело, в двадцать пять решил сдать, пришёл в военкомат. Получилось смешно, ему не хватило веса, на врачебной комиссии посмотрели на него — бледного, худого и нервного, сказали, «давай уже два годика погуляй где-нибудь, мы сделаем вид, что тебя не видели», но Вадя упрямо стоял на своём, и военком махнул рукой. Служил поэт в топографическом отряде, дембеля его не трогали, называли «бумажный дед». Нехитрые премудрости тахеометрической съёмки он не освоил, даже с нивелирной рейкой не ходил. Его часть вообще не выезжала в поле. На вопрос «чем же ты там занимался целый год?» поэт пожимал плечами:

— Воровал соляру под командой прапорщика Слюсаренко. Автохозяйство большое, ГСМ начальство по бумаге проводило по-крупному на выезды в несуществующие летние полевые лагеря. Ну а прапор наш довольствовался малым, «курочка по зёрнышку клюёт», так он говорил. Сливал немного с каждого ЗиЛа, мол, «спишут на усушку», я выносил канистры к забору, там ждали знакомые дальнебой.

— Тебе-то какой с этого навар? — интересовался Гриша.

— Сигареты, пара пива, ещё по мелочи, откормил меня «кусоч» в каптёрке при гараже домашним салом, а главное — в серой беспросветной армейской скуке дарил мне прапорщик Слюсаренко немного тепла человеческого.

После дембеля Вадик, побухав с месяц, устроился в милицию. Как-то Григорий встретил его в форме на овощном рынке. Они остановились поболтать, и Гриша с удивлением наблюдал, как торговцы почтительно здоровались с Вадей.

Поэт попросил подождать, сбегал вглубь торговых рядов, вернулся с пакетом.

— Держи, фрукты свежие, родителей угостишь, платить не надо.

— Ты чего, совсем, Вадя? Дань собираешь? Не нужны мне такие фрукты, надо будет, куплю, — усмехнулся Григорий. — Забыл слова про мзду из любимого фильма, которую мы не должны брать, понимаешь, не должны, ты всё испортил, вроде поэт, божий человек, а туда же.

После встречи на рынке друзья долго не общались. Вадик всерьёз обиделся и не звонил. Позже он рассказал, что анонимно зашился и, работая в милиции, не пил поначалу, был на хорошем счету. Не секрет, что непьющий человек даже с небольшими зачатками разума в любой организации чего-то добивается, главное, изъять преданность начальству и общему делу. В ментовке трезвенник — это вообще нонсенс. Злые языки поговаривали, что Вадя зашитый, а может, и наркоман, но поэт убедил всех, что вообще ни капли не употребляет, ему это неинтересно, и, похоже, сам в это уверовал. Будучи трезвым, он открыл в себе невиданные ранее деловые качества. Писал грамотные отчёты, сочинял поздравления и очень угодил руководству однажды, накропав оду столичному полковнику, приехавшему на отдых в северные края. Там были строки (позже Вадя декламировал другу хвалебную песнь на берегу Онежского озера, как Демосфен, перекивая шум прибоя):

Звёзды упали вам на погоны,  
Небо в печали,  
Небо лишилось звёзд,  
Умные мысли, мерцают нейроны,  
Вы решаете дело с колёс!

— Погоны, нейроны, биофак не прошёл даром, это гениально, Вадя! Лизнул, так лизнул! — хохотал Григорий.

На сообразительного лейтенанта обратили внимание, готовили в отдел внутренних расследований, но тут закончился срок, отведённый наркологом, поэт расшился, и то самое печальное небо с оставшимися звёздами рухнуло на землю. Даже в милиции поразились, как может человек самозабвенно бухать. Большой поэтический талант оказался талантлив во всём. Вадя вылетел из ментовки, нырнул в запой, побултыхался в алкопучине, но нашёл в себе скрытые силы, протрезвел и был выброшен жизненной волной в ряды охранников.

На новом месте Вадик скучал, подбирал рифмы, прохаживаясь по торговому залу, стараясь не смотреть на ряды алкогольной продукции в красивых бутылках, и мог с рабочего телефона позвонить Григорию в любое время суток. Сегодня это случилось ночью, в три часа:

— Гриня, я придумал себе псевдоним, — с ходу затараторил Вадик. — Илларион Невесомый! А, каково? Скажи, красиво звучит.

— Я вообще-то сплю.

— У меня тут возник вопрос, — у Вадика была особенность, свойственная увлекающимся творческим людям, он никогда не слушал и не слышал собеседника. Вот и сейчас он пропустил мимо ушей реплику друга. — Хотя, не буду загружать ерундой. Давай почитаю новое, буквально с печки, с пылу с жару, для самого любимого критика.

Григорий хотел сказать, что хочет спать, ему рано вставать, но вместо этого промямлил, проклиная свою мягкотелость:

— Да, конечно, почитай. — И в очередной раз подумал: «Какой же ты, Гриша, размазня».

Впрочем, отвечать было вовсе не обязательно, в трубке уже монотонно раскатывалось:

...Поляны тихие, тропы опрелые,  
Болота рыжие, заиндевелые,  
Морщины ранние, осины грустные,  
Слова негромкие, рассказы устные,  
Стаи гусиные, крики унылые,  
Деревни старые, места замшелые,  
Поля заросшие, озера чёрные,  
Лодчонки дряхлые, вёсла тяжёлые,  
Граниты серые, ладони твёрдые,  
Пути неровные, оледенелые,  
Шрамы глубокие...

— Стой-стой, этак причитать можно до рассвета, — прервал Григорий. — Я могу за тебя продолжить. Сараи обгорелые, бутылки запотелые и травы ещё, травы какие-нибудь прелые и прочее-прочее, список тоскливых прилагательных. И так грусть кругом, давай повеселей. Видишь ли, Вадя, я этой безнадёги и разрухи провинциальной насмотрелся в экспедициях предостаточно, мозг чернотой заполнен, скоро из ушей потечёт. Кстати, скажи мне, ты пишешь про «болота и граниты», сам-то хоть раз выбирался в своей жизни на настоящее болото, на дряхлой лодчонке загребал «вёслами тяжёлыми»? Мне кажется, автор должен писать про то, что хорошо знает, что сам пережил, а то какая-то тоска у тебя фальшивая.

— Хочешь сказать, что Герберт Уэллс гонял на машине времени, или, может, Алексей Толстой жил при Петре Первом? — парировал Вадик.

— Ты сравнил, это другие жанры. Ладно, беру слова обратно, но ты же поэт, попробуй дать нам, обывателям, чуток позитива, и будет замечательно. Хорошо?

— Какой позитив, Гриня? У меня связь с космосом, если ты не знал, обстановка так себе складывается на белом свете, а будет ещё хуже, — недовольно буркнул Вадя.

Поэт помолчал немного, и Григорий хотел закончить разговор, но трубка снова ожила:

— Погоди, вопрос по новому псевдониму. Илларион, понятно, а вот сомнение есть насчёт второй части — Невесомый. Мне понравилось двойное значение слова: «не весомы», мол, нельзя меня повесить, а «невесомый», значит, легче воздуха, легче души. Как тебе в целом?

— Илларион Невесомый, нормально звучит, правда, несколько старозаветно, но ничего, поэтично, — ответил Григорий. Он лукавил, псевдоним показался ему дурацким, но не хотелось затягивать дебаты.

— И ещё, Гринь, мне нужны деньги, умираю, нет сил и средств, я всегда в бедности, и эта нищета меня убивает. Пишется очень тяжело последнее время, а я ведь создан, чтобы творить.

Вадик любил давить на жалость, то у него кто-то умирал из близких родственников, то он сам заболел смертельной болезнью. Как правило, он и звонил, чтобы «совместить приятное с полезным» — поделиться свежим произведением, а за чтением стихов всегда следовала денежная просьба.

«Гриня, нужны деньги, немного, я отдам», — говорил он, зная, что не вернёт, а Григорий чувствовал себя почему-то виноватым, старался давать по возможности, хотя с наличностью он сам не особо дружил, работа в Академии наук не способствовала накоплению избыточной денежной массы, и никогда не спрашивал возврата. Ему казалось, что он в ответе за Вадика перед Вселенной, — Вадя же поэт, есть у него предназначение и цель в этой жизни. «Надо любить поэтов, беречь их. Поэты страдают за всех, они совесть этого мира и несут слишком тяжёлую ношу», — думал Григорий без сарказма (хотя иногда всё-таки малюсенькая хихикающая тень проскакивала).

И ещё, может, это и было главной причиной: Григорий опасался, что если он не выслушает или откажет в деньгах, то Вадя запросто может накинуть на шею шнурок. Художников ведь так легко обидеть. История знает много подобных примеров, и грех на душу брать не хотелось.

— Хорошо, Вадя, то есть как там тебя теперь называть, Илларион? Короче, Илларион, завтра вечером занесу денежку.

— А сейчас не сможешь? — жалостливо спросил Вадик-Илларион.

— Ночь на дворе, Вадя. Попроси у своих, кто там у тебя на кассе?

— Не могу Гриня, всему миру торчит поэт Илларион Невесомый. Никто меня не любит. Нет, возможно, и гуляет сейчас моя любовь в летнем платьице на другой стороне земного шара, например, в Буэнос-Айресе по проспекту Сервантеса, там же наверняка есть такая улица, но ведь мне от этого осознания не легче.

Гриша поморщился, все эти жалобные забросы он знал наизусть:

— Ладно, Вадя, давай, до завтра. То есть до вечера, загляну после работы.

— Да, Гриня, до вечера, спасибо, что выслушал.

Григорий повесил трубку: «Ох уж эти поэты».

Он так и не смог заснуть, пошёл на кухню ставить чайник.

## 2

За спиной бухнула тяжёлая дверь подъезда, отозвавшись эхом в панельном колодце. На спящих стенах светилось всего четыре окошка. В последний рабочий день люди никуда не торопились. Общественный транспорт ещё не ходил, и Григорий решил прогуляться пешком.

Снег, кажется, не собирался заканчиваться в этом году.

«Последний снегопад тысячелетия», — шепнул Григорий. Запрокинув голову, он поймал языком несколько малюсеньких ледяных небесных подарков. Сегодня он чувствовал себя счастливым и красивым. Редкое для него состояние. Ради праздника облачился в костюм и пальто, и даже папин галстук непривычно обтягивал шею. Он пересёк спальный район, миновал парк, не встретив ни души. Когда шёл под железнодорожным мостом, прогрохотал, поднимая тучу снежной пыли, грузовой поезд. Гриша обхватил пуговицу на пальто и загадал желание, он всегда так делал в этом месте, когда проходил под движущимся составом. Кто-то в детстве сказал ему, что, если над тобой проезжает поезд, надо загадать желание и взяться за застёжку одежды: пуговицу или молнию.

Желания не сбывались, он проходил под этим путепроводом много раз, держался за пуговицы, молнии, шнурки от шорт и резинки спортивных штанов, всё тщетно, но сегодня было особенное утро, последнее утро двадцатого века. «Не шутки, проснулись мишутки». Он зажмурился и сжал пуговицу на груди. Сердце колотилось в такт ударам колёсных пар над головой. Это был очень длинный состав. Обледеневшие порожние угольные вагоны, хопперы, цистерны неслись над головой, и он шептал, шептал, что бы ему хотелось, о чём он мечтал в свои огромные бесконечные двадцать четыре года, крутил пуговицу сильно-сильно. Затрещали нитки. Чего только не было в этом беззвучном крике — и желание добра и справедливости всем, родной стране, всему миру, еды голодным, и чтобы больные стали здоровыми, особенно дети, а потом он перешёл к личному: чтобы мама и папа тоже не болели, сдать бы этот дурацкий кандидатский минимум по английскому, и ещё в остатке находились интимные вещи с несколькими молодыми знакомыми и малознакомыми особами. Поезд всё никак не хотел заканчиваться, и Григорий шептал. Очнулся он в тишине с оторванной пуговицей в руке. Аспирант улыбнулся, разглядывая чёрный кругляш с четырьмя дырочками: «Теперь точно сбудется, — с надеждой подумал Гриша. — Это же как надо было крутить». Он положил пуговицу в карман, стащил перчатку и выдернул обрывки ниток из пальто.

Проходя мимо круглосуточного магазина, посмотрел на часы — рановато. Внутренняя борьба длилась недолго, праздник всё-таки.

Он толкнул дверь и окунулся в душную атмосферу. Раскалённые нагреватели понизили концентрацию кислорода до критической. За прилавком клевал носом мужчина средних лет, с жидкой бородкой, в чёрной футболке с золотистой надписью EAGLES на груди.

Гриша взял банку пива из холодильника. Подошёл к кассе.

Продавец протёр глаза:

— Не рановато для пива?

— Странные вопросы задаёте для продавца в круглосуточном магазине алкогольной продукции. Ещё скажите, что это вредно, — почему-то невинный вопрос возмутил Григория.

---

О.Камов

# Пор

Рассказ

Чужой земли мы не хотим ни пяди,  
Но и своей вершка не отдадим.

*Марш советских танкистов*

Дорога широкая, ясная, смутно знакомая, и рядом — никого, прибавим газу.  
Сужается вдаль, как у реалистов-передвижников или в лобовом стекле авто  
Великого Гэтсби, тот где-то неподалёку жил, что там в перспективе у горизонта?..

Прояснилось со временем: площадь, причём оживлённая.

Неточно, она полна народу, она *запружена* людьми!

Торможу плавно, аккуратней, акку... — живая плоть кругом.

Ногу в пол, идиот, — ты кучу народу погубишь!

Но педаль тормоза не идёт вниз.

Тогда ручник, на себя до предела — тоже мимо.

Вот и первый удар. Первый истошный крик. Кровь на стекле.

И штормовой, гневный рёв толпы, которую я беспощадно, легко прорезаю,  
будто гусь ряску на нашем заброшенном университетском пруду.

Давлю на клаксон: «С дороги! Спасайтесь, кто может, водитель в неадеквате,  
нехорошо ему, ужасно!» — ведь массовое убийство — единственная память, что  
останется от него после заканчивающейся сейчас жизни — вечный позор.

Закрыв глаза, убрал руки с руля — конец, бессилён, делайте со мной что хотите,  
всего заслуживаю, рвите руками, зубами, жгите, зовите полицию, стреляйте, стреляйте  
же, прошу!

Очнулся. С головы до ног в холодном поту. Сердце колотится около горла,  
пульс... 150? 170?

Иногда кажется — уж лучше умереть, чем продолжать видеть сны, к которым  
нельзя привыкнуть, второй год мучение длится.

Откуда наказание?

---

Автор, сочиняющий под псевдонимом О.Камов, — специалист в области прикладной  
и вычислительной физики, окончил МФТИ, работал в одном из московских академических  
институтов. Рассказы опубликованы в журналах «Знамя», «Урал», «Новый Берег», «Звезда».  
Постоянный автор «Дружбы народов».

Предыдущая публикация в «ДН» — 2025, № 2.

Просто насмотрелся-наслушался? — но я не маньяк-убийца, я типичная жертва! Неудачник, «лузер» по-местному.

За что? — неужели где-то решили, что слишком долго землю топчу?

Любимый папа всего пяти лет до ста не дотянул, в полном сознании, правда, снов своих с сыном не обсуждал, незачем — идеальный человек, раскаиваться не в чем было.

Пожалуй, слишком, грехи у каждого есть, не на облаке живём.

Но чтобы так страшно, так... несоразмерно.

И всегда за рулём, почему?

Как раз понятно: *вожу* по сей день, даже на пенсии покоя не нашёл.

«Нехер жопою крутить — вам положено водить!» — финал детской считалочки, сквозь туман деменции с небольшими потерями прорвалось, там начало было типа «Раз-два-три-четыре-расставляем-ноги-шире-ты-пилот-ия-пилот-меня-это-не», с лёгким матерком, с чётким ритмом, — чтобы не жульничали, не мухлевали при декламации.

Не хочешь водить, — поймай удачу при расчёте по скромным послевоенным нормам, а ещё надёжнее: прыгай дальше всех, бегай быстрее всех, рваный мячик закидывай выше городских крыш — будешь сам всех рассчитывать и на я бывать, по-возможности, а схватят за руку — ездюлей отвесишь, кому сможешь, только сначала научись папину гирию хотя бы отрывать от паркета.

*Нетакой* с детства был. И нетакой остался.

И водил чаще всех во дворе — толстый, некоординированный, с замедленной реакцией — мне на диване книжки читать было интересней, чем в этих дурацких играх участвовать, меня строгая родительница из дома силой выставляла — за здоровьем.

Выставила, в результате, куда Иван-царевич и на волке не заруливал — за горы-за моря, — мимо острова Буяна, прямо в царство чистогана, об этом долго ввали своим подданным хозяева 1/6 части суши (не путать с японским деликатесом, природные ценители которого ужасно сокрушались, что в эту ночь решили перейти границу у реки, правда, эксперты непрерывно спорят, как та водная артерия называлась, кто её переходил, когда и зачем).

Чего там историю ворошить, скоро самому через речку пограничную сплавляться. Надеюсь, перевезут, на том берегу целая армия спутников всех возрастов дожидается, почти все здоровее, красивее, талантливей меня.

Были да сплыли — смешно?

Ничуть, всё проходит, необратимо, и тем быстрее, чем нетерпеливей погоняешь судьбу: полным стаканом интернационального элексира забвения производства спиртзавода имени товарища Бебея, или товарища Микояна, или другого, не столь широко известного товарища, активной поддержкой безнравственных всемогущих начальников, абсолютной глухотой к страданиям посторонних при возведении храма собственного благополучия.

Ну и огребли той же мерой, какой других меряли, плюс незапланированные, но от этого не менее вероятные события-катастрофы, которым всегда есть место в жизни: статистика — не Книга, оперирует потоками информации и не соврёт, если не изнасилуют.

Но самое страшное — остаться одному, не разделить невыносимое с кем-то близким, не перекинуть хоть малую часть груза, который, вроде папиной гири, невозможно поднять в одиночку.

Когда папа ушёл, я попытался пристроить бесхозный снаряд, безмолвно меня укорявший, кому-нибудь из соседей, начал с квартиры на втором этаже, где жил чемпион по плаванию добрый дядя Коля, не раз у него бывал, видел коллекцию стальных эспандеров, упругих каучуковых лент, торчащие из стен рычаги непонятого назначения.

Открыла жена — не узнала, представился: — Поросёнок с пятого, — чемпион меня так называл, абсолютно безобидно, не при свидетелях, и даже приглашал к себе в бассейн, обещал превратить в пловца-разрядника.

Вспомнила, ещё сказала: — Мне очень жаль, хороший человек был, — о папе.

А потом: — Коля тебя не признает, он и меня — с трудом, у него геморрагический инсульт был, сломался наш победитель.

Плюнул, продал родное гнездо с железным довеском и улетел к чистогану.

И ведь предупреждал его, одинокого, просил:

— Папа, как ты тут будешь? Давай ко мне.

— Зачем? Мне машину здесь водить необязательно — не на твоём таинственном острове, в многомиллионнике живу, всё под боком.

Понимаешь, *что* предлагаешь советскому офицеру? — переместиться в страну наиболее вероятного противника.

Я присягу давал, ты с включённой головой столько не живёшь, сколько лет я фуражкой лысину себе полировал, мне туда исключительно на танке заезжать полагается по Уставу, — прикалывался старый член ВКПБ/КПСС, в светлое будущее верить перестал до Второй Мировой, у него обострённое чувство юмора было, он же не просто вояка — вечный инженер-полковник, доктор наук, лауреат.

— Понял, а где та Советская Страна? Помнишь Булгакова? Свободен! Ну притворись, что ты на танке, хочешь, машину в защитный цвет перекрашу, сапоги твои обмою сначала в Атлантическом, потом в Тихом? Сейчас не безумный тридцать девятый, забыли про «чужой земли мы не хотим ни пяди», на мир ориентация.

— Ты серьёзно? Невролог с психиатром по тебе скучают, голубь белокрылый.

— А российские евреи в Германии?

— Непостижимо, видно, их скитания никогда не закончатся, опять грабли под ногами, были уже кавалеры железных крестов, большие патриоты, чем этнические немцы.

А вот пример, мне друг покойный рассказывал: нет более гордых грузин, чем южные осетины; что эти гордые сейчас думают?

Архангел Михаил озвучил: «перестройка».

Значит: «до основания».

А затем — подсчитаем, что разрушили.

Поговорили.

Прощальный военный салют он не услышал — привилегия живых, — чтобы знать, кого потеряли.

Опять ошибся насчёт страхов: знаю штуку посильнее «Фауста» Гёте, и любовь здесь ни при чём: называется Nursing Home — Дом Призрения, или Дом Престарелых, или Последний Приют — многократно умноженное одиночество в компании себе подобных — отчаявшихся, сломанных, полубезумных... — никогда, на любой земле, скорбные цветковские строчки ещё в ушах:

истекут мытарства  
через пару лет  
раздадут лекарства  
привезут обед  
тихая палата  
хриплая мольба  
здесь была когда-то  
родина моя

К врачам не пошёл: такое понапишут, что потом из дурдома не вырваться, примеров хоть отбавляй.

Понадеялся на авось, ну не может быть всё отрицательно, иначе жизнь неполная, в полной — «на каждый прилив — по отливу», конечно, в среднем, если живёшь достаточно долго. Только плюсы с минусами не чередуются, словно чётные с нечётными, а часто выпрыгивают неожиданно, будто чёртик из табакерки, и тогда говорим «фортуна», или говорим «рок».

В общем, разъезжаю по Длинному Острову во сне и наяву, удовлетворяю нехитрые неотложные потребности:

показаться врачу — «Вы в прекрасной форме, сэр, ваш папа сколько лет прожил? Девяноосто пять? — до ста будете жить!» — сказал бы ещё зачем;

продуктов закупить на неделю-две, метаболизм не тот уже, не требует умерщвлённой невинной плоти ежедневно;

ну и свой кабриолет покормить-смазать-проверить — «Синьорс дискаунт? — конечно, сэр, вы очень молодо выглядите, простите — вот вам ваш процент», — старческую скидку не трожь.

Фортуна — что я говорил!

Заливает масло прямо в уши, а на вид меня старше, потому что с обширными бородой-усами, будто допетровский боярин или Карабас-Барабас, и тело специфической бочкообразной конфигурации, как у новейшей секретнейшей российской ракеты «Предбанник-3», недавно поставленной на боевое идеологическое дежурство.

По-прежнему просыпаюсь с криками, в поту...

Почти каждую ночь.

Дождался-таки, рулю не помню куда, но наяву, солнечный день, мотор не слышен, замечательная природа за стеклом: виноградники, сосны, ухоженные газоны, открывающиеся на смене владений фрагменты атлантического берега...

Настроение приподнятое.

Вдруг вижу: на обочине что-то рыжеет, вроде живое.

Остановился.

Именно — вроде, голден ретривер, сука, ребристое окостеневшее тело мухи облепили, копаются в раскрытых глазах, отвисшие соски... — невозможно смотреть.

А где потомство?

Нашёл одного в трёх метрах — живой? неживой? — понять не могу, у меня собак-кошек никогда не было: мамин паркет исцарапают, шерстью своей нашу мебель, одежду, лёгкие набьют, поместил бедняжку в багажник, в коробку с тряпками, газ до полу, прямиком в госпиталь для животных, благо совсем рядом.

Там помогли, осмотрели, взяли кучу анализов, распечатали инструкции по уходу — целая книга.

И стал я своему щеночку мужеского полу вместо мамы: поил, кормил, растил, выгуливал, разговаривал на двух языках, он очень скоро необычайно красивый сделался — гладенький, кругленький, в госпитале сказали «правильной дорогой идёте, товарищи» или что-то вроде.

А маму его я в первый день упрятал в чёрный пластиковый мешок и прикопал, где нашёл.

Не знаю, как у других, я такой любви за мою немалую жизнь не заслужил ни разу, да и сам привязался к сироте... — чисто сына пропавшего нашёл.

Сижу однажды в кресле, перебираю редкие мысли, он тербит дешёвую матерчатую куклу.

Вдруг осенило меня: у него же имени ещё нет.

И тут, на полном автомате, говорю: «Пор!»

Сразу игрушку отложил и глядит внимательно прямо на меня.

Меня аж слеза пробил: сто процентов попадание.

Я себя вспомнил, поросёнка с пятого этажа, гостя дяди Коли (кто подумал о Порфирии Петровиче, сочинённом популярным здесь господином Достоевским, пусть отдохнёт: не тот случай, расследовать нечего, миру — мир).

И опять звучит без обид, хотя почти рок, но про мясо никому знать не обязательно.

Нарадоваться не могу на Пору, гуляем с ним по посёлку минимум два раза в день до собачьей площадки, он там расслабляется с друзьями.

И я нет-нет да и словечко другим хозяевам вставлю, нажитым опытом поделюсь, принято считать мудрость почти линейной функцией возраста — чушь, конечно, просто хорошие манеры, азы общения — для спокойствия тех, кто на склоне, а для языка лучшее место — за зубами, если ты не писатель огромный.

Самое главное: кончились мои виртуальные ужасные вождения, сплю практически без сновидений: вечером лёг — утром встал, как под пропофолом в госпитале для людей.

И Пор рядом на коврик — родная душа.

А если ему страшно, — разрешаю рядом на кровати расположиться, проверяю его пульс — пулемётный, примерно с таким я от собственных кошмаров пробуждался недавно.

Но для его лет — нормальная частота: значит, оба Божьи творения пока живы — слава Небесам!

*Элина Сухова*

## Веди подсчёт чудес

\* \* \*

Что снилось, не поймёшь,  
Но тянется в ночи —  
Хоть кочетом запой,  
Хоть дятлом застучи.  
Читай на память лес —  
Промозглый, голубой, —  
Веди подсчёт чудес —  
Озябшим волком вой.  
Мечтай о небылом,  
Да выйдет невпопад —  
Раскисшая Москва  
И равнодушный взгляд...

### *Школьный выпускной*

К вечеру дождь пошёл.  
Все сбежались в столовку.  
Только парни хлебали что-то  
Тайком возле сортира.  
Что — не знаю, но странно смеялись,  
Подмигивали неловко,  
И пахло от них противно.  
Лампы мигали —  
Цветомузыка, дискотека...  
Платье испачкала краской.  
Было обидно.  
Не потому, что краска,  
Краска вторична,

---

*Сухова Элина* — поэт, прозаик. Родилась в Москве. Окончила Историко-архивный институт и Литературный институт им. А.М.Горького. Кандидат исторических наук. Автор четырёх поэтических сборников, среди них «Вещь человечья» (М., 2023) и книги прозы «Одна большая любовь» (Смоленск, 2023). Живёт в Подмосковье, в селе Гжель.

А потому,  
 Что даже сейчас, напоследок  
 Не заметил никто, не позвал —  
 Как обычно.  
 Мама спросила, как всё прошло.  
 Соврала: отлично.  
 Даже о мальчиках  
 Что-то ей рассказала...  
 Долго снилась  
 Бесконечная, как тоннель, школа.  
 Кажется, перестала...

\* \* \*

Вот дети на старом заборе  
 Болтают ногами, смеются.  
 И ветер качает, вздувает  
 Бельё на растяжках дворовых.  
 И мама кричит из окошка,  
 Да только теперь непонятно —  
 Ругается или не очень?  
 И ветер гоняет бумажку,  
 А следом котёнок соседский  
 Несётся азартно, когтисто...  
 Догонит её? Не догонит?  
 И нет ни событий, ни страхов,  
 Ни разных дурацких любовей.  
 Лишь двор, и забор, и котёнок,  
 И ветер, и мама в окошке...

\* \* \*

У первой моей собаки	И на Б немножко,
Имя сложилось — Герберт,	Можно питать надежду,
Вторую зовут Бертольд,	Что не скоро, но всё же
Очень красиво зовут.	Станет она другая —
А третья, уже решила,	Дивная просто, на Д...
Дитрихом будет зваться.	Ну а пока собака
Дитрих такой прекрасный,	С именем славным Бертик
Умный такой, большой.	Бегаёт, звонко лает,
Дитрих не потому, что	Радостен и упруг...
Страстно люблю немецкий,	Пусть он живёт подольше.
Не потому, что рычанье	Но ведь питать надежду
В собачьей кличке уместно,	На грядущего чудного
А потому, что нужно	Дитриха
Чем-то фиксировать жизнь.	Никто мне
Если она похожа на Г	Не запретит?

\* \* \*

В ночи подступает вода  
и ложится на грудь,  
и страшно вздохнуть.  
Но музыка, музыка —  
там, на Титанике,  
пляшет народ,  
не слыша, как входит вода  
сквозь разъявленный борт.  
Вода поднимается дыбом.  
Сквозь пушечный ряк  
матросские глотки орут:  
«Не сдаётся наш гордый Варяг!»  
И он не сдаётся...  
И хриплый Высоцкий кричит:  
«Удушье... Спасите...»  
Но крики стихают в ночи.  
И я просыпаюсь,  
и морок уходит ночной.  
Но вкрадчиво волны  
шуршат  
за стеной...

\* \* \*

Приходит лето всё такое — на каблучках и в пёстрой блузке,  
Качает красные качели в промытом парке городском.  
Потом стреляет из мелкашки по страшным зайцам из картона,  
Бежит сквозь дождь, накрывшись курткой,  
Вдвоём накрывшись с головой.  
Оно заводит два оркестра — шум создавать попеременно,  
Натанцевать всех до упаду, к концу сезона надоесть.  
Приходит лето...  
Нет, уходит.  
Кладёт в футляр трубу большую, заводит листьев круговерть.  
Снимает красные качели и дождь меняет на позёмку...  
И одинокой лебедушке  
В пруду, подёрнутом забвеньем...  
И одинокой лебедице  
В пруду, подёрнутом прощаньем...  
Ichliebedich такой печальной  
Зимой предсказывает смерть.

*Алексей Колесников*

## Из воды на сушу

*Два рассказа*

### *Откуда в России берутся дети*

Ему заранее неловко от предсказуемой реакции школоты.

— ...И вот, благодаря акросомной реакции образуется что-то вроде коридора в прозрачной оболочке, в которую и проникает, — вот сейчас захихикают, — проникает сперматозоид. — И далее, быстро, без пауз, подавляя собственное смущение: — Он соприкасается с яйцеклеткой. Происходит слияние. Далее ядра гамет переселяются в самый центр... яйцеклетки. Это важный этап. Именно сейчас происходит смешивание материнских и отцовских хромосом. В результате появляется — зигота. Новая жизнь.

Что это ещё такое? Не только «сперматозоид» оставляет их равнодушными, но и «зигота». Это же смешно, когда ты школьник.

Действительно, они другие. С какими-то небывалыми защитными реакциями. Старшеклассники подняли головы, проверяя, не испарился ли учитель. На месте. Задумался о чём-то. О чём, старик? Тебе тридцать или уже сорок? Прикиньте: при Ельцине родился.

Адамову на той неделе исполнилось тридцать четыре. Впервые лет за пятнадцать он напился до преклонения перед унитазом. Адамова чуть живот не надорвала от смеха.

После шестого урока была большая перемена. Адамов имел полторы ставки, поэтому выдавал по семь уроков каждый день плюс классное руководство и участие в конкурсах ради стимулирующей. Вчера написал за ученика сочинение на тему: «Фотосинтез и мы».

Он листал ленту новостей, сидя в учительской. Политику съел на завтрак. Городские новости — в автобусе. Фотки друзей — на большой перемене. Остались только тёлки.

---

*Колесников Алексей Юрьевич* родился в 1993 году в Белгороде. Образование высшее юридическое. Печатался в журналах «Новая Юность», «Нева» и др. Автор нескольких книг, в том числе «Ирокез» (2021), «Экспроприация» (2024), «Укрытие» (2025). Лауреат премии «Лицей». Живёт в Белгороде. Постоянный автор «ДН».

Адамов не был сексистом. Просто именно так в его поколении называли молодых свободных девушек. Язык сам подобрал такое определение. Как известно, язык первичен по отношению к его носителю, потому что существует до индивида и помимо него. Само это слово — «тёлки» — Адамов никогда не употреблял ни при мужчинах, ни тем более при женщинах. Ну, может, только в школе. А всё же именно так думал его мозг. Это не нравилось Адамову. Он считал себя человеком прогрессивным и сочувствовал борьбе за права женщин. Мизогинию считал признаком подавленной пидерастии. В то же время ему не нравилось, что такое слово как «тёлки» считается запрещённым. То, что оно порицается, — хорошо. Но вот то, что даже при готовности претерпеть порицание его всё же нельзя произнести публично, — это раздражало Адамова невероятно. «Только трусы запрещают слова». Так считал Адамов.

Тёлки были невероятные. Одна специально подпрыгивала, чтобы тряслись груди. Другая стягивала трусики, умело цензурируя самое главное. Третья и четвёртая стояли на руках, разведя в стороны ноги. Их был нескончаемый легион. Адамов понимал, что если бесы и существуют, то обитают они под стеклом смартфона. Каждый клик выпускает одного бесёныша. Однажды они сожрут душу. Но что поделать? Устроено так: либо живёшь, либо душу спасаешь.

Адамова что-то тревожило. Будто по венам плыло крошечное пёрышко.

Математичка (69) и географичка (77) обсуждали разложение мужчин соседних стран. Было жарко, пахло краской; то громче, то тише, непрерывно гудел хор разновозрастных ангелов из школьного коридора.

«Дура недотраханная», — слышалось из приоткрытой двери. Кто-то из учителей среагировал — подняв голову.

Вошла Анна Сергеевна (35) с пятиклашкой. Пацан был красный от беготни, по щекам к подбородку стекал пот. Он ершился перекошенным пиджаком и смотрел в пол.

— Саш... — Присутствующим: — Здравствуйте, коллеги. — И опять мальчугану сверху: — Саша, разве можно так говорить? Тем более про девочку!

— Я не буду больше, — прошептал Саша. — Она меня толкнула.

— Повторяю: она девочка! — Анна Сергеевна взглянула на коллег, ища поддержки. — Так нельзя говорить. Это грубость. Хамство. Разве папа маме так говорит?

Саша настолько опустил голову, что мог бы носом коснуться язычков кроссовок.

— Я так не буду больше. Извините, Анна Сергеевна. Мне в столовку нужно.

Анна Сергеевна отпустила проказника. Математичка сказала, что школьники совсем охамели. Матерятся и плюются без зазрения совести. Географичка сказала, что они не уважают учителей потому, что зарплаты нищенские. А Адамов посмотрел на костяшки таза Анны Сергеевны. Они были обтянуты юбкой, в которую Анна Сергеевна сегодня заправила водолазку. Адамов как-то раньше не обращал внимания. Анна Сергеевна чуть горбилась и имела некрасивый гоголевский нос. Адамов не считал её привлекательной и не удивлялся её холостяцкому статусу. А сегодня подумал, что милая она. Захотелось поговорить. Но без флирта, конечно, а так просто. Адамов любил жену и сейчас, наконец, идентифицировал причину своего внутреннего волнения, внутренней щекотки. Хотелось любви в её элементарной форме. Прикрыв экран ладонью, он нашёл фотографию обнажённой Юли. Она поливала цветы, стоя у окна в пол-оборота.

По дороге домой Адамов подумал, что подступится к Юле сразу, как появится на пороге. Пёрышко зашекетало в районе сердца. От мужичка с грустными глазами пахло перегаром. Адамов подумал, что нужно сначала сходить в душ, и только потом...

Адамов стащил свитер, выйдя из автобуса. Свернул в чужой двор, чтобы сократить путь. Там, в иссохшей яме асфальта, сидел шелудивый пёс, подметая хвостом пыль, и как бы улыбался впечатлительному Адамову. Мальчик отважно раскачивался на качелях. Из гаража доносилась музыка и щёлкала зажигалкой женщина в халате. Несмотря на сентябрь, ещё припекало, но уже беспонтово. Летние ароматы Адамов не любил. Они смешивались в густой и липкий коктейль. Совсем не трогали. Будто плохой исполнитель угрюмым боем играет на расстроенной гитаре. Осенью, особенно в её начале, запахи расплетались, натягивались и пронзительно звучали меланхоличным перебором. Жареное масло, газетный аромат духов незнакомки, табачок, дизельный выхлоп немецкой машины, висящие в воздухе капли дождя, само собой небо — свежим бельём облаков.

У подъезда соседка попросила Адамова поднять на пятый этаж бутылку с водой. У неё муж погиб на войне. Она теперь всех просила о чём-нибудь. Адамов помог, не запыхавшись. У своей двери вспомнил, что нужно взять из ящика квитанцию. Спустился за ней.

Наконец попал в своё ипотечное логово.

Юли, вопреки ожиданиям, не было дома. Его встретил заспанный кот. Пахло его горшком. Стащив туфли, Адамов отправился с этим разбираться.

Год назад они смогли купить двадцатисемиметровую студию в ипотеку. Сталкивая их своей теснотой то бёдрами, то лбами, она провоцировала то близость, то ссоры. Кулинарили по отдельности, чтобы избежать колото-резаных ран в уголке, именуемом «кухня».

Адамов принялся готовить. Обжарил на сковороде говяжий фарш с луком, добавил пробитые блендером томаты и отрегулировал вкус уксусом, сахаром и солью. Когда подоспели спагетти, смешал всё и украсил базиликом, который недолюбливал, но использовал ради Юли. Накрыв маленький подвиг крышкой, Адамов уселся за кухонный стол, позволяя коту тереться о ногу.

Закат был поэтическим. Адамов приоткрыл окно, впуская его в квартиру.

Юля вернулась, когда солнце уже село. Адамов не спрашивал — она задерживалась третий день подряд. Коллеги в отпуске. А они не смогли. Как и большинство, эта молодая семья балансировала над пропастью главных национальных мемов: «надо откладывать» и противоположным «богато не жили и нефиг начинать».

Сегодня Юля надела обтягивающее платье. И, наконец-то, чёрные колготы. Адамов ненавидел телесные.

Стаскивая туфельку в узкой прихожей, не замечая игривого взгляда Адамова, подошедшего встречать, Юля выпалила:

— Я три дня! Три! Раскрепляла, сканировала и опять скрепляла протоколы. И знаешь что?

Адамов вздохнул. Юля жаловалась на эти протоколы четвёртый день подряд.

— Эти сканы нахрен никому не нужны. А я сразу говорила, что не нужны, понимаешь? Эта дура никого не слушает, потому что... — Юля заплакала.

Адамов обнял жену, стесняясь растущего возбуждения. Ему было стыдно: Юля с горем, а он — как животное.

Увидев тарелку с пастой, Юля улыбнулась. Адамово возбуждение отступило. Его обострённое чувство справедливости требовало кровавой мести каждому, кто посмел обидеть Юлю.

Поели, и обоим полегчало. Адамов подумал, что можно попробовать сейчас, но Юля укрылась фартуком и принялась мыть посуду. Адамов взялся за книжку.

Писатель — его ровесник — поместил героев в странную ситуацию. Оба друг друга не любят, но от отчаянья, невозможности коммуникации с окружающими, тянутся друг к другу. И вот они в душе. У неё рука в гипсе. Она просит о помощи, не намекая, как будто, на что-либо ещё. Встав у неё за спиной, герой раздевается и трёт мыльной рукой голую спину. Потом вода несколько раз то ледяная, то кипятком. Это должно, очевидно, подчеркнуть неустроенность героев в воссозданном мире. Наконец, будто протестуя против всех неурядиц, назло предрассудкам, он прилипает к ней и...

Юля вскрикнула, а потом, сквозь шум воды, бьющей из крана, засмеялась. Нелепый кот, запрыгнув на стол, перевернул тарелку с остатками Юлиной пасты и шурился теперь на хозяев томатной мордой с повисшей на ухе макарониной. Он выше обычного задирает голову, набирает побольше воздуха и манифестировал низким голосом возмущённое: «мэу»!

Пошли мыть кота в душевой комнате. Юля сняла юбку, колготы и блузку, оставшись в белье. Она отмывала неудачливого вора, а Адамов дежурил наготове с полотенцем. Потом Юля сушила кота феном, а мелкий эксплуататор блаженствовал, подставив морду тёплому потоку воздуха.

Адамов вспомнил, что и сам прежде всего собирался в душ. Сообщил об этом Юле без подтекста. Так, будто пошёл выносить мусор. Они не умели отнестись к этому буднично. Мол, эх, жена, готовься — любоваться будем. Не приятно так.

Хорошо это или дурно, но русский эрос не циничен. Это роднит его с русской же поэзией. Быть может, есть места, где поэт, натянув нарукавники, приступает к сочинительству подобно тому, как юрист приступает к иску. А как же вероломность вдохновения? Внезапное желание кровью писать? «И пальцы просятся к перу, перо к бумаге,/ Минута — и стихи свободно потекут».

Стоя под душем, Адамов думал, что самое время сейчас. Фен затих. Юля сидит на диване и, может, думает о том же, томится тем же. Адамову стало тесно с самим собой. Опять всплыл Пушкин: «Как ждёт любовник молодой/ Минуты верного свиданья». Адамов улыбнулся, рассматривая себя сверху вниз. Как некстати Пушкин. Впрочем, он всегда где-то поблизости.

Чуть унявшись, Адамов явился к Юле, завернутый в леопардовое полотенце. Капельки воды дрожали на его плечах звёздами погон. Цапля-Юля стояла у окна, оперев одну ногу в другую. Разговаривала с матерью. С тещенькой.

Натянув на мокрые чресла трусы, Адамов прислушался и надел всё остальное. Юля злилась. Сначала она, хохоча, рассказывала про эксцесс с котом, про томат у него на ухе. А потом, тревожно выслушав, резко сказала:

— При чём здесь это? Прекрасно знаю без тебя. Мы только квартиру купили — поэтому. Я просто рассказала смешную историю. При чём тут кот? Разберёмся сами. Пока.

Ещё надеясь, Адамов вздохнул и задёрнул шторы, уже не боясь, что это будет воспринято как намёк. Юля, погружённая в свои мысли, села на диван, на позабытую там книгу. Уколовшись уголком обложки, она вынула её из-под халатика и спросила:

— Ну как?

— Пойдёт. Про таких, как мы, пишет.

— Не может быть. Посмотрим что-нибудь?

Адамов включил телевизор, думая о том, что нужно аккуратно пригреть Юлю и начать. На диван запрыгнул кот — Адамов низверг его на пол.

— Пилу «Дружба» нужно было назвать «Родители». — Юля выдохнула и отобрала у Абрамова пульт.

Адамов подумал, что это идиотизм: вот жена, вот её, смотрящие врозь колени. Раздевай и властвуй! ...А всё ж как-то глупо и пошло.

Они смотрели сериал, в котором ничего не происходило, кроме вымученных разговоров, объясняющих либо прошлую, либо будущую мотивацию полипропиленовых персонажей. С ними то и дело случалась несусветица: героя резали, топили, он убивал, плакал, спасал каких-то детей, а потом дрался с ментами; и всё это в одну ночь после случайной встречи на мосту с братом-близнецом, похищенным в раннем детстве старообрядцами. Случись хоть десятая часть того, что происходит на экране, с реальным человеком, — он лечился бы у психиатра до пенсии. Наконец, любопытное: герой вгрызся в героиню и гладит её по щеке — последние лет тридцать так, и никак иначе целуются в подобном кино. Потом они срывают одежды и усаживаются на подоконник. Голые, даже без носков, но ничего не видно. Послушные облака темноты. Актёр прикрывает грудь героини, а она коленями его единственный невестребованный в профессии инструмент. Желаемого достигают строго синхронно. Она — раскрыв рот и зажмурившись, а он — запрокинув голову с взъерошенными волосами. Одежда само держится на загривке героини. Детальный план: какая-то фотография в рамке. Монтаж: задумчиво смотрят мимо камеры (раньше курили). И диалог, толкающий сюжет к унылому безумству.

Адамов подумал, что после эротической сцены нельзя приставать к Юле, иначе она подумает, что ему захотелось актрису, а не её. Погладив пальцами диван, он почувствовал что-то пушистое. Задрав по-балетному ногу, кот вылизывал шов в месте кастрации. Адамов погладил кота и взглянул на часы. Было поздно.

Призывно завибрировал телефон. Адамов ответил. Без «здрасьте» и «извините» звонила завуч (41).

— Я не вижу от вас материал на почте.

— Какой?

— Два раза говорила. Муниципальный проект «Формирование патриотического воспитания». Вчера было мероприятие. «Растим патриота и гражданина. 9—11 классы. Пути. Проблемы. Достижения».

— Знаете, я его не проводил. Мероприятие добровольное и ребята не пришли.

— Почему?

— Потому что было воскресенье. Им хотелось побыть дома. С родителями. Отдохнуть.

— Так. А вы оповещали о проведении мероприятия? Список подтвержданных...

— Кого?

— Подтвержденных список составляли? С вас тогда отчёт о том, почему не пришли ученики. И каждый пусть предоставит объяснительную от родителей. Мне что в районе показывать? Я жду вот — вечер, между прочим, — нужно на страничку выложить пост о мероприятии. А они у вас не пришли. Вы же сами просили классное руководство. Вам за это пять тысяч доплачивают, между прочим. И это не в первый раз. Сказано: стойте на пешеходном переходе перед первым уроком и показывайте водителям, что тут пешеходный переход. Указ Губернатора. Нет же — не стойте. Дома спите. Чем вы только ночами занимаетесь?

---

*Сергей Попов*

## Дом Клигмана

*Опыт общения с призраками*

Раз один в Воронеже —  
Где, не помню — встретила  
Со мной одна девушка...

*Алексей Кольцов*

### 1

К тому времени я уже целое лето жил один... Развод был безболезненным. Все болезненности случились раньше... Ощущение лёгкости завораживало, но не избавляло от поисков жилья. Они меня не сильно напрягали, но впрыскивали в кровь слабый раствор неопределённости. Впрочем, его дозы были далеки от болезнетворных...

После работы я болтался по городу, сживал с приятелями, плоско философствовал... Мне легко поддакивали, плотно хлопали по плечу, с готовностью подливали... Мы увлечённо обсуждали круговые каверзы мироустройства, лукавые свойства времени, неизбежные виражи державы... А потом со слезой и жаром исполняли «Из-за острова на стрежень...» Но до этого доходило нечасто...

Потом я с удовольствием выходил в ночь, сладко курил, долго глядел на звёзды... Меня окрыляли хрупкие витражи безлюдного простора, краткие объятия внезапной тишины, холодные волны далёкого упорного света... Устраивала ли меня такая расстановка вещей? Я не задавался этим вопросом. По крайней мере эта невесомость меня не тяготила... Но вскоре я стал замечать, что в её ауре всё явственнее обозначались трещины: многие из приятелей всё чаще не могли по той или иной причине со мной встретиться, общение переносилось на неопределённое время, и мне зачастую приходилось коротать вечера одному... Выходило, что сама прежняя невесомость стала тяготиться мною. Может быть, именно оттого и случилась эта встреча...

---

*Попов Сергей Викторович* — поэт, прозаик. Родился в 1962 году. Окончил Литературный институт им.А.М.Горького. Печатался в журналах «Новый мир», «Дружба народов», «Звезда» и других. Автор многих книг, в том числе «Отдел теней и лавров. Стихи, проза, пьесы» (Тамбов, 2017), «Травы и тропы. Книга стихов» (М., 2020), «Вся печаль. Книга стихов» (М., 2021), «Крылья над крышами. Избранная проза» (Воронеж, 2021) и других. Лауреат ряда литературных премий, в т.ч. журнала «Дружба народов». Живёт в Воронеже. Постоянный автор «ДН».

Когда-то мы кратко виделись — буквально раз или два. Но это было очень давно и неправда. И тем не менее исключительно благодаря тем дальним пересечениям мы и заговорили...

Я возвращался с наших очередных вечерних посиделок, травился никотином и активно изучал светила... Вдруг меня кто-то окликнул. Я увидел худую смуглую дамочку с мальчишески короткой стрижкой. И не сразу её узнал...

— Привет! — привычно воскликнула она, как будто мы расстались только вчера.

Я тоже поздоровался, и только потом уже стал догадываться, кто это...

— Арзо?..

— У тебя замечательная память на имена.

— Такое забыть мудрено...

— Что о себе расскажешь?..

Рассказывать было нечего. Кроме того, что было. Поэтому я рассказал всё как есть.

— Может, зайдёшь? Я здесь совсем рядом...

— Ну, если только рядом... — снизошёл я, хотя расстояния, само собой, ни малейшего значения не имели...

У подъезда на лавочке сидел изрядно поддатый маргинал в грязных сапогах, мятом пиджаке и пыльной шляпе. Он протяжно отхлебнул из склянки, по-хозяйски определил её во внутренний карман и неожиданно грозно провозгласил:

— Народ и Партия едины!

Я невольно вздрогнул и опасливо покосился на оратора. В зрчках его играли бесенята...

— Ничего-ничего, — успокоила Арзо, — он не агрессивен. Я это выслушиваю регулярно...

Я недоверчиво кивнул и оглянулся. Чуть в стороне красовался блестящий, с иголочки «Мерседес»... Головокружительное благополучие квартировало и здесь. Его добрая порция была бы мне весьма кстати...

— Скупают квартиры, — поймав мой взгляд, пояснила спутница. — Место лакомое...

Мы не спеша поднимались на самый верхний этаж.

— Первое, заметь, строение в городе, где чёрная и парадная лестницы ничем не разделены. Неслыханная по тем временам дерзость!.. Представляешь, из апартаментов спускается господин, а ему навстечу — кухарка с судками... Ну как такое вынести можно?! Я бы на месте господина...

— А на месте кухарки?.. Вот тебе и революционная ситуация. Это всё архитектура спровоцировала...

— Никогда об этом не думала.

— Я тоже.

— А ты честный... Или я не права?

— А с чего мне быть лживым? Какой в этом прок?

— Вопрос на засыпку... А знаешь, по какому полу мы ступаем? По знаменитой плитке харьковского «Товарищества Берхенгеймъ». Разве ты не чувствуешь?..

— А мне рецепторы сигнализируют, что мы ступаем по не менее знаменитой плитке «Виллерой и Бох»...

— Ты уверен в своих рецепторах?

- А в чём ещё я могу быть уверен?
- Мне нравится, что ты художественно подкованный товарищ. Я ведь художница...
- Неужели?
- Да. В Камерном театре тружусь. Деньги, конечно, смешные. Но там режиссёр отвязный...
- Ты меня заинтриговала...

Красное плотное вино с орешками пошли на ура... Хотя мне такие вина не нравятся...

— А я люблю, — ответила хозяйка. — В них много солнца. А я ведь родом оттуда, где его много...

— Все мы родом оттуда... Арзо, я ещё давным-давно тебя хотел спросить... Откуда у тебя имя такое?

— Мой далёкий папа — иранец. Так что шансов быть наречённой каким-либо иным именем, кроме персидского, у меня было немного... Кстати, знаешь, что оно означает? Желание. Как ты сам понимаешь, мне деваться некуда...

— Да, позиция у тебя безвыходная...

— Ты ведь хочешь добиться меня? Как женщину...

— Это предложение?

— Всего лишь запрос декларации о намерениях. Так да или нет?

— Да. Но оформилось это намерение только что. И, разумеется, всецело с твоей подачи.

— А нужно помогать оформляться тому, что напрашивается. Иначе оно зависнет внутри и будет мешать жить. Ты так не считаешь?

— Ты всегда работаешь на упреждение?

— Стараюсь. Но не всегда получается...

— Есть чему позавидовать...

— А завидуй — не завидуй, так я устроена... А тебя моё устройство не устраивает?

— Ну вот... И познакомиться заново не успели — сразу тебе и накат...

— Разве это накат? Так, пробный шар... А ты уж и рад надуваться...

— Я с некоторых пор взял себе за правило ничего не пугаться и ни на что не обижаться. Знаешь, очень помогает...

— Ко мне это правило при всём желании неприменимо... Так вот. Я ставлю условие...

— Конечно же, невыполнимое?..

— Отчего же... Я нынче человек театральный, а потому мне любезны представления.

— То есть ты хочешь, чтобы я организовал здесь театр одного актёра?

— Ты догадливый...

— И как ты это себе представляешь?..

— Излагаю. Моё сердце возможно растопить только перевоплощениями. Почему? Потому что сама близость — это перевоплощение. И ещё какое! Но путь к этому лежит через целую череду лицедейств. А иначе это будет лишь унылым изнасилованием... А если осмотреться всерьёз, ничего, кроме перевоплощений, и не существует... А смерть — разве не перевоплощение? Раз уж мы оказались в таких декорациях, предлагаю подверстать к этому делу историю. Она сама тоже ведь — сплошное и непрерывное... Так что осваивай тему, выбирай персонажей, выдумывай реплики и монологи... А необходимый реквизит — за мной. Смогу ли я ответить на притязания

этих господ?.. Всё зависит от их умения убеждать... Желаю героям успеха. Вопросы есть?..

— Есть. На успех может рассчитывать каждый из героев?

— Я вижу это как некий рыцарский турнир. Но при наличии творческой потенции возможно всё...

— Ничего себе замануха!

— Выбирайте выражения, сударь!

— Именно это мне и предстоит...

— А это помещение может служить вам репетиционным залом. И не благодарите... Ведь я всё больше на работе. А обитатели этого здания народ летучий... За ними глаз да глаз нужен. Так что живой человек в жилище очень кстати...

## 2

Надворный советник Исаак Григорьевич Клигман. В 1913—1914 годах числился председателем Правления Благотворительного общества при еврейском молитвенном доме... Каким он мог быть? Среднего роста, коренастый, в строгой тройке... Ухватистый, благообразный, себе на уме... Чуткий к деньгам. Такой доходный дом отгрохать, где каждая квартира больше ста квадратов, — это безупречная чуйка нужна... Значит, понимал запросы благородной публики. Иначе ни за что на риск не пошёл бы... Наверное, стремился к налаженному быту... Почему? Так с ходу и не объяснишь... Разве можно объяснить фантазию?

Чем о человеке меньше известно, тем больше затрачиваешься на восполнение реальности. Ты просто вынужден выстругать ему свой мир взамен съеденного забвением...

В дверь позвонили. Арзо не было дома, и я засомневался, нужно ли открывать... Но дверь всё же отворил. В проёме стоял не в меру упитанный добродушный субъект с папкой в руке и что-то тихо напевал. Закончив куплет, он разулыбался и протянул мне бумагу. Во рту его блистали золотые зубы...

— Что это?

— Требование жильцов провести капитальный ремонт дома с обязательным сохранением исторического облика объекта...

— А я не жилец.

— В каком смысле?

— В смысле принадлежности к этой жилплощади.

— То есть вы не собственник?

— никоим образом. И вообще я здесь не прописан...

Толстяк заметно поскуучнел. Но тотчас одёрнул себя и забормотал какую-то бессмысленную песенку. Он задорно оглядел комнату и меня и картинно развёл руками...

...Что мне нужно? Костюм-тройка, лакированные башмаки, котелок... И трость! Дорогая тяжёлая трость. Это обязательно... Ну и галстук-бабочка. Куда ж без этого?

— Неужели я могу надеяться?

— Кто знает? Я ведь создание хрупкое. Психика лабильная, кость тонкая — размер кольца всего-то шестнадцать... Чуть что — и, глядишь, сломаюсь...

— А с чувством меры у тебя поломок не случается? Кокетство просто нэповское...

— Ты считаешь, тогда именно так кокетничали?

— Сужу по литературным источникам...

- И слава Богу — стало быть, ты совсем молодой...
- И с чувством юмора тогда тоже у многих проблемы были....
- Не у всех поголовно. Встречались умопомрачительные исключения...
- Если умы помрачены, — это совершенно естественно...

Я примерил костюм и возрадовался. Он подошёл мне идеально. Такое бывает нечасто... Это же здорово, когда пиджачок сидит. Сразу ощущаешь себя кинозвездой. Как, оказывается, для этого мало надо!..

— Я человек серьёзный — занимаюсь благотворительностью, формирую религиозное мировоззрение...

— Ах, Исаак Григорьевич, Исаак Григорьевич, — укоризненно тянула Арзо, — плохо вы еврейскую молодёжь воспитывали. Им ведь на религиозное мировоззрение наплевать... Вот Коган-Бернштейн в августе семнадцатого стал председателем исполкома губернского совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, а губернский комиссариат по еврейским национальным делам возглавил Альшиц. И комиссариат этот, кстати говоря, именно здесь и располагался... Хорошо хоть, что у них до синагоги руки тогда не дошли... Так что с религиозным мировоззрением неувязка вышла...

- А разве революция — это не религия?
- Она самая. Только несколько другая... А как вы к революционерам относитесь?
- Отрицательно. Бог должен быть один.
- Вы божий человек?
- В привычном вульгарном значении нет. А так все мы...

— Да бросьте, Исаак Григорьевич. Вам не надоело бесконечно толочь воду в мировоззренческой ступе? Не обрыдло почём зря перемывать национальные кости? Не находите, что это убийство времени, которого и так нет? Что молчите?

— Воду в ступе толчёте именно вы... Я полагал, что вы более склонны к созиданию, нежели к рефлексии... Вы ведь художник! Могли бы, например, по выходным учить детей изобразительному искусству... Причём всех без разбора национальностей. И общество бы консолидировалось охотнее...

— Я никогда никого не учила. Всю жизнь учили меня... Так уж на роду написано.

— А что вы рисуете? Прошу прощения, пишете?

— Не стоит извинений. Ничего сакрального в плодах моей деятельности нет. Чем режиссёр озадачит, то и творю...

— Как-то слишком приземлённо себя вы квалифицируете. А ведь «художник» — это звучит гордо! Шекспир тоже свои пьесы не для благодарных потомков сочинял, а для современного ему плебса — ремесленников, торговцев, подёнщиков — основной публики театра «Глобус». Чтобы скромные пенсы свои в кассу несли. Большинство смотрели представление стоя, прихлёбывали эль, закусывали орешками, незатейливо общались... Ядрёный пивной дух стеной над этими зрителями стоял... А на сцене шёл «Гамлет»... Всё как обычно: товар — деньги — товар... А вон оно потом чем всё обернулось...

— Посмертная судьба Шекспира мне не грозит. А к тому, что звучит гордо, следует относиться с крайней настороженностью...

— Допустим... А почему бы вам не попробывать себя в роли управляющей вот этим самым доходным домом? Дело новое, живое, надеюсь, прибыльное... Здание принадлежит мне. А я к вам отношусь... с нежностью...

— Вы же меня совсем не знаете...

— Да, узнавание иногда приводит к нежности. Но в вашем случае всё наоборот... Вы перевернули порядок вещей.

- Это слишком громкий комплимент...
- Ничуть. Лишь объяснение того, почему я могу предложить вам и руку, и работу...

## 3

На первом этаже дома в начале десятых годов двадцатого века располагалась зубо врачебная лечебница. Её владелец Мовше-Бер Нахманович, несомненно, был человеком грузным и бесформенным. Он, разумеется, был весельчаком и говоруном. Наверняка всегда что-то на ходу напевал... Мгновенно, не меняясь в лице, переходил с чепухи на серьёз, а потом обратно... В детстве при мысли о стоматологе у меня сразу начинали болеть зубы...

— Милая, милая Арзо, — говорил Мовше и нежно касался мизинцем её плеча, — я просто без ума от вас. Уж вы мне поверьте. Я человек далеко не первой молодости, и потому тратить время на болтовню — не моя стихия... У меня крепкое чувство семьи, — со значением повторял Мовше. — А это дорогого стоит. Вы же должны понимать, что важнее ничего нет... Я не лентяй. Я учился зубо врачебному ремеслу у самого Александра Ивановича Адельгейма, который аж с 1856 года практиковал в доме Сомме на Ново-Московской улице. Он звание дантиста на экзамене в Московском университете подтверждал... Ведь помимо трёхлетнего дантистского обучения требовалось выдержать испытание на знание строения челюстей, зубов и дёсен, осведомлённость в сфере болезней полости рта. А ещё обязательной была и демонстрация практических умений на живых пациентах... Нужно сказать, что тогда «зубной врач» и «дантист» не были абсолютными синонимами... Пути освоения специальности в первом и во втором случае были разные. А какие уважаемые люди трудились рядом! Приятно вспомнить... Вальтер Антонина Степановна — она вела приём на Мало-Дворянской улице в доме номер пять, Каминер Вениамин Гиршевич, работавший в десятом доме по Мясницкой, Райхман Берко Йосельевич — на Никитинской в доме девятнадцать, Шехтер Вера Моисеевна — на Старо-Московской улице в одиннадцатом доме...

— Я прямо-таки рот разинула от такого выбора...

— Кто ж тогда предполагал, что всего лишь через несколько лет начальник зубо врачебной подсекции лечотдела Наркомздрава РСФСР выступит с докладом «О реорганизации зубо врачебного дела в России»? И соответствующие постановления не заставили себя ждать... И пошла-поехала реквизиция частных лечебниц и кабинетов, а врачей и техников — железной рукой — на госслужбу...

— Откуда вы это всё знаете? Вы же этого не можете знать. Вас к тому времени уже не существовало...

— Ошибаетесь. Я и поныне, как видите, существую. И более того — здесь живу...

## 4

Поздними вечерами на лестницах слышались шаги, нездоровое покашливание, вздохи сожаления...

Председатель жилищного товарищества «Первое мая» носил сапоги, косоворотку, пиджак и шляпу. Под мышкой всегда держал папку с государственными бумагами. От него демократично пахло «рыковкой» и махоркой...

В дверях председатель плотоядно осмотрел хозяйку и широко разулыбался.

— Хорошая ты девка! — сообщил он. — Давно на тебя глаз положил. Всё женихаться собираюсь, да со временем напряжёнка нескончаемая... Я тут по делу зашёл, а на тебя глядя, про дело и позабыл вовсе...

— Ладно, не балабонь. Зачем пожаловал?

— А может, по маленькой для начала? Ну ладно. Как знаешь... А зря. Смотри, что у меня есть...

— Что это такое?

— Читай. Ты ведь грамотная дальше некуда...

— Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 14 июня 1926 года «Об условиях и порядке административного выселения граждан из занимаемых ими помещений». Ну и что?..

— А то, что сосед твой через стенку и есть такой гражданин: на что живёт — непонятно. Трудовых доходов не имеет. В общественной жизни не участвует. По всему видно — из бывших... Мутный, как первач. Кандидат — первостатейный...

— Кандидат?..

— А какие могут быть сомнения? Таким место в лучшем случае на улице...

— А зачем ты мне всё это рассказываешь?

— А потому что жилплощадь освобождается. Стало быть, появляются все условия для полноценного сосуществования мужчины и женщины в новых социальных реалиях. Красиво сказал?

— Красиво... Только кто с кем сосуществовать-то будет?..

— Разве непонятно?.. Мы с тобой, разумеется. Теперь будет — где... А это, как ни крути, главный вопрос.

— Главный вопрос — зачем?..

— Дабы ничто не мешало счастью...

— А я буду с тобой неизбежно счастлива?

— А почему бы не стать счастливой, когда всё для этого будет?

— И что же от меня для достижения этого лучезарного будущего требуется?

— Ничего. Разве что один автограф — и все дела... А у тебя по театральной жизни автографов никогда не просили?

— При чём здесь театральная жизнь? Ты вообще — о чём?

— Я тут одну бумагу — чтоб тебе не утруждаться, — составил. Ну как будто это ты её написала... Распишись — и дело в шляпе. Без вариантов. Уж я за этим прослежу...

— И что же это за бумага?

— Заявление. О том, что сосед тебя не устраивает.

— И чем же?

— Поведением, которое диктуется неподобающими пережитками прошлого.

— И ты думаешь, что я на это клюну? Что мне ничего не стоит переступить через все мои принципы?

— А для счастья нужно однажды переступить. Иначе его не будет. Об этом не любят говорить. Но это так — куда ж от этого денешься... Сомневаешься?

— Мне сомневаться не в чем. Загвоздка в одном: счастье, полученное таким образом, сомнительно... Точнее сказать, несомненно...

— Знаю-знаю... Можешь не продолжать. Только имей в виду, что в бумаге этой может оказаться и другая фамилия...

— И чья же?

— Твоя, например... Ты такой возможности не допускаешь?

— Ну и сволочь же ты...

- Да шучу я. Непонятно, что ли? Это ж — любя...
- Я прекрасно знаю, что ты шутник. Но любовь — дело нешуточное...
- А кто спорит, кто спорит? Но ты меня полюбишь. И шутки мои полюбишь.

Вот увидишь...

- Как я погляжу, комплексом неполноценности ты не страдаешь...
- В наше время не страдать нужно, а действовать. Ты не согласна?
- А сочетать эти вещи невозможно? Ты нарочно так вопросы ставишь?
- Я ставлю вопросы ребром — именно так, как требует нынешняя повестка.

А если кому с современностью не по пути, — это его проблемы...

— Да... На любовь ты не наработал. Но на угощение с восточной приправой вполне... Айда за стол! — И Арзо сдвинула крышку чугунного казана. Из его недр хлынул несказанной манкости аромат...

Мовше-Бер Нахманович что-то мурлыкал себе под нос. По-моему, «На заре туманной юности всей душой любил я милую...». Потом замолк, задумчиво огляделся и обратился ко мне:

- Здесь было солнце...
- Я не помню никакого солнца.
- А вы и не можете помнить. Вас тогда и на свете не было...
- Вы не можете его забыть?
- Прямо над парадным — кованое, с витражными сегментами... Ума не приложу, куда оно подевалось... Его отсутствие ощущается куда острее, чем наличие. Уж поверьте...

— Ничего другого мне не остаётся...

— Молодой человек, у меня к вам серьёзная просьба. Вчера я пытался изложить её одной очаровательной девушке, но разговор не получился... Вы, я вижу, человек деятельный — почти такой же, как Исаак Григорьевич. Хотя он, конечно, вне конкуренции... Так вот. Суть дела заключается в следующем. Наш народ необходимо лечить. И лечить срочно... Потому как очень скоро будет поздно, и лечением уже не поможешь...

— Что вы имеете в виду?

— Зубы... А удивляться тут нечему. Народу нужны крепкие здоровые зубы. Иначе он просто не сможет разгрызть крепкий орешек нынешней реальности и уйдёт в мир беспросветных фантазий и лукавых призраков. А чем это кончается, прекрасно известно... Над этой проблемой нужно работать интенсивно и системно... Есть же, есть замечательный, заслуживающий самого пристального изучения опыт. Взять хотя бы вот это здание, где мы беседуем... Больше ста лет назад здесь открылась бесподобная стоматологическая клиника. И обустроить её довелось вашему покорному слуге... Мы начинали грандиозно: восторги, разговоры, запись на недели вперёд. Процесс, как потом вошло в обычай говорить, пошёл... Белозубых улыбок вокруг становилось многократно больше. Количество позитива в обществе росло не по дням, а по часам... Если бы нам удалось поработать ещё год-другой, если бы нашему примеру последовали в разных городах, если бы наши люди осознали, как это ценно и хрупко... Тогда, уверен, не случилось бы того, что называют революцией...

Так вот, я считаю, что именно сейчас необходимо срочно организовать зубоврачебную лечебницу. Разумеется, жизнь не стоит на месте. Нужны современные подходы, иные масштабы, режим непрерывного функционирования... Только так. А как иначе? К чему я это говорю?.. Предстоящий формат работы таков, что одного

первого этажа — как столетие назад, — смехотворно мало. Необходимо всё здание. Нужны и анестезиология-реанимация, и челюстно-лицевые операционные, и дневной стационар, и физиотерапия, и врачи смежных специальностей. А управленческий аппарат, охрана, бухгалтерия...

— Планы воистину грандиозны... Но при чём здесь я?

— Видите ли, есть одно досадное обстоятельство — жильцы... Им следует в плановом режиме, по-хорошему, освободить свои площади. А убедить их это сделать должны власти. А убедить власти должны энергичные люди, готовые к конфиденциальным переговорам и выполнению деликатных поручений. Без этого звена механизм не работает...

— Вы считаете, что я один из таких людей?

— Убеждён. Вы провоцируете доверие. Вы себя ещё не знаете...

Я не нашёлся, что ответить, и долго молчал... А здоровье народа тем временем рушилось в тартарары...

## 5

На вечерних посиделках один из друзей показывал дореволюционные фото с городскими видами. Он был известным собирателем и к этим пожелтевшим листкам относился с невообразимым трепетом. И бесконечно пояснял-пояснял-пояснял... Словно хотел вернуть сам воздух, которым дышали все эти доходные дома, рестораны, электротeatры... И я начинал уже сомневаться в том, что меняются только декорации. Что-то в этом постулате оставалось для меня за кулисой...

Друг числил себя праправнуком Дмитрия Садовникова, поэта и этнографа позапрошлого века, ныне почти забытого. Однако одно из его сочинений было у народа до сих пор на слуху, а зачастую и на языке... А потому наши вокальные упражнения, венчающие застолья, сводились к исполнению одной и той же вещи. Не могу судить, продвинулись ли мы на этом поприще в правильном направлении...

— А почему ты развёлся?

— Театральности не доставало. Одна сугубая реальность в малопримечательных её проявлениях...

— От ёрничанья быстро устаёшь...

— Я успел тебя утомить?

— А это происходит стремительно...

— Будем считать, что напугала... А своё семейное положение объяснять долго...

И по-любому внятно не объяснишь... С некоторых пор я взял за правило не комментировать прошлое. Понятнее оно не станет. А ворошить то, чего давно нет, — дело дурацкое. Чтобы с какой-то светлой стороны глянуть? На всё грязное бельё стирального порошка всё равно не хватит...

— Знаешь, у персов было божество по имени Митра. И у него была широкая зона ответственности — всё, что связано с дружественностью, справедливостью, договором, согласием и солнечным светом. Сейчас его подзабыли — видимо, плохо справлялось со своими обязанностями... Или ему было поручено заведомо провальное направление работы... Ты никогда не задавал себе вопрос, почему все вдруг решили, что обязаны жить долго и счастливо? А может быть, это противоестественно? Может, мы созданы прежде всего для того, чтобы расставаться: биологическая миссия выполнена — и поминай как звали... По-моему, это куда логичнее...

— Тогда наше бедное общество канет в хаос...

- А разве оно и так не в хаосе?
- Да Бог с ним, с хаосом... Я спрашиваю тебя, почему добро — это добро, а зло — это зло. Кто это определил? И правильно ли мы понимаем это определение?
- Как-то мы из темы развода плавно переместились в космическое пространство...
- Так мы всю дорогу — в космическом пространстве. А развод — лишь метеорная пылинка... Но ведь без неё и космоса бы не было. Он ведь весь из пылинок... Ты никогда не думал о том, что думанью не поддаётся?
- Я только этим и занимаюсь.
- Это могут позволить себе только счастливики... Значит, ты один из них.
- Вовсе нет. Расстаюсь я без пены у рта. Но будучи личностью апокалиптической, безмерно долго позволяю бродить в себе искрам, давно утратившим всякий смысл. Уже и события отодвинулись на более чем безопасное расстояние, и люди стали другими, и состав воздуха изменился, а порочный круг болезненного возбуждения всё не размыкается... Этакая страсть к оплакиванию всякой личной эпохи. Борюсь как умею...

Клигман стоял на верхней лестничной площадке и презрительно смотрел в пространство.

- Исаак Григорьевич? — изумился я. — А разве вы не за границей?
- Вы всерьёз верите в реальность границ?
- А во что ещё верить?
- В их иллюзорность.
- К сожалению, последние события этому не способствуют...
- Последние, последние... — передразнил Клигман. — Не нужно бросаться словами. Мой дом здесь...

— По-твоему, выходит, что вся наша необъятная — это всего лишь дом Клигмана...

— У тебя распространённая болезнь — склонность к вульгарным обобщениям... И при чём тут наша необъятная? Ты хочешь сказать, что её сто с лишним лет назад евреи соорудили? Это явное преувеличение. Впрочем, не могу утверждать, что предмет преувеличения отсутствует. Но я не об этом...

- А о чём?
- О смысле этого сооружения. Зачем он стоит? Ради того, чтобы такие, как ты, за ради Бога в нём ютились? Или затем, чтобы всем напоминать о чём-то... Впрочем, я не Чаадаев...
- Если здесь живу я, — значит, смысл в любви...
- В какой любви? Их много... Очень, знаешь, удобно всё сваливать на любовь. Она и начало, она и содержание, она и хлеб насущный... Универсальное оправдание всего на свете. За неимением иных...
- Последнее замечание — существенное... А тебя такое положение вещей не устраивает?
- Удивляет.
- А в мире вообще пропасть удивительного...
- Я успел заметить. Даром что не из разряда наблюдателей...
- А из какого же вы разряда будете?
- Действующих лиц. В этом сочетании оба слова приятны: и «действующие», и «лица»...

В дверь постучали. Арзо ещё не вернулась с работы, я подумал, что это она. Но на всякий случай всё же предварительно спросил.

— У меня замечательная «рыковка», — слышалось из-за двери, — и пара чудесных помидоров. Открывай, посидим как люди...

— С удовольствием бы... Но никак не могу, — отказался я, легко распознав визитёра.

— Дурачок... Кто же сейчас от халявы отказывается?

— Так уж складывается...

— Открывай, чего там...

— Я очень не люблю навязчивых.

— Да ты — хам, как я погляжу.

— Ну вот, — ещё и не выпили, а ты уже в драку кидаешься...

— Если б я кинулся, ты бы уже молчал...

— Но тебе же потрепаться охота...

— Это тебя и спасает.

— Зато тебя моё существование спасает. Убери меня — и тебя поминай как звали... Хотя и без того — имени твоего никто хоть убей не назовёт...

— Вспомнят ещё... Тогда и поговорим. Если доживёшь...

## 6

На работе я иногда появлялся, что-то мне платили — а потому деньжата кое-какие у меня водились. Копейки, разумеется. Но я в голову не брал... Больше того — обещали помочь с жильём — оплачивать аренду... А там, глядишь, и ипотеку... Говорили, что во мне очень заинтересованы. Аттракцион невиданной щедрости! Но я не прыгал до потолка, потому как не сильно верил своим впечатляющим выражам...

Какого чёрта я забрёл в ювелирный, — убей не скажу... Вспомнилось почему-то, что размер кольца у Арзо — шестнадцать... И попросил дать мне глянуть одно из тех, что теснились за стеклом...

Мне были выданы малиновый пиджак, массивная под золото цепочка на шею, увесистый перстень-печатка... Я сам попросил зубную аппликацию: без золотой фикса — никуда...

Пиджак — откровенно с чужого плеча — безобразно висел на моём худосочном торсе. Пришлось пойти на ухищрения: закатать рукава, надеть рубаху навывпуск, не застёгиваться... Нужно было сделать так, чтобы на персонажа можно было худо-бедно смотреть...

— Не скрою, очарован вами и готов на всё, чтоб заслужить вашу благосклонность... Что вы в этой жизни более всего желаете?

— Боюсь, многие мои желания — стопроцентная утопия...

— Я так не думаю. Любая утопия обретает плоть через грамотную работу с депутатским корпусом...

— Как у вас всё незатейливо решается!

— Просто пустых затей я не люблю...

— А бросаться словами — это не пустая затея?

— Милая моя, — веско и развязно парировал я, — дела мои набирают обороты, и недалёк тот час, когда я совершенно спокойно приобрету всё это причудливое

сооружение и презентую его вам. Вам нравится эта скромная обитель? Вот послушайте, это же звучит как песня: «Был одним из немногих в то время четырёхэтажных домов города. В двадцатые годы прошлого века принадлежал жилищному товариществу “Первое Мая”. В суровом выразительном облике дома сочетаются свойственные модерну черты романтизма и неоклассицизма. Композиция здания в целом симметрична: план Т-образный, с лестничной клеткой в середине. На главном фасаде три креповки поднимаются над крышей в виде высоких фигурных щипцов. Между креповками расположены балконы с бетонными столбиками, причём длинные балконы второго этажа объединяют среднюю и боковые креповки. Плоские выступы в боковых креповках напоминают эркеры. До недавнего времени справа от главного входа была арка проезда во двор (заложена), которая несколько нарушала строгую симметрию фасада. Проёмы первого этажа и боковых креповок — очень широкие, почти квадратные, в проёмах второго этажа лучковые перемычки. Портал входа решён как арочный пилястровый портик. Классицистический характер имеет также фриз под венчающим карнизом сильного выноса. Богатую сложную пластику фасада создают разнообразные по форме и размеру накладки и ниши, а также сочетание серых оштукатуренных поверхностей с открытой красной кирпичной кладкой. Боковые щипцы расчерчены в клетку, имитируя покрытие керамической плиткой. Две парапетные решётки простого изящного рисунка выполнены в духе модерна. В центре здания расположены две лестницы — парадная и чёрная — с общими лестничными площадками. В первом этаже площадка между ними разделена высокой металлической решёткой с цветочным рисунком. Интересно, что к квартирам четвёртого этажа ведёт только узкая чёрная лестница...» На самый верхний этаж можно попасть только по чёрной лестнице... В этом что-то есть, не правда ли?..

Этот пресловутый образец модерна буквально кишел привидениями. Они висели под подъездным потолком, оформлялись на лестницах, ломались в квартиры... Наглые попытки возглавить здешнюю жизнь множились и множились. И разговоры с призраками уже воспринимались как примирение с их первенством...

Кольцо село на палец идеально.

— Это же не из реквизита, — опешила Арзо и странно посмотрела, как будто видела в первый раз. — Просто чудо!..

— Это от меня.

— От тебя или от него?

Я промолчал.

Арзо подошла к окну и долго в него смотрела. Я сделал паузу, а потом продолжил...

— Девонька, вы безумно очаровательны...

— Перестань паясничать...

Арзо была неистова. Кожа её искрилась, сердце бесновалось, дыхание обжигало... С хищной стремительностью она отвоёвывала у прижимистой реальности бесконечные минуты самозабвения, летела в бездну раскалённой слепоты, упрямо восставала с самого дна бесчувствия... Но мне казалось, что за нами кто-то неуступно следит. И отделаться от этой глупости не получалось...

Я поднял голову. Потолка над нами не было — кругом безгранично простиралось одно звёздное небо. Звёзды смотрели на нас внимательно, фиксировали каждый надсадный вдох, каждый хриплый выдох... Никаких оптических преград для них не существовало. Да что там оптика!.. Их презрительный холод нещадно обжигал кожу...

Поджарая Арзо точно наливалась какими-то неведомыми соками: грудь твердела, бедра ширились, живот округлялся... И через несколько минут я уже узнавал в ней персидскую княжну и нисколько тому не удивлялся...

...Почему кажущееся несбыточным по получении превращается в должное?

— А я думал, что ничего уже не будет, что лимит попыток исчерпан...

— Разве нам что-то известно о лимитах?

Я приподнялся на локте, чтобы заглянуть Арзо в глаза, но они сливались с темнотой.

— У меня до сих пор голова кружится...

— Наверное, это из-за того, что было много препятствий...

— Препятствия — часть нас самих. Без них всякая цель обесценивается...

Да и много ли их было?.. И препятствия ли это?..

— Согласна. Всё это лишь приправа. Восточная пряная приправа...

Над нами опять обозначался потолок. Он был высоким, но трещины на нём различались отчётливо...

— Интересно, сколько ещё простоит этот дом?

— Думаю, очень долго, — твёрдо сказала Арзо. — Уж нас он точно переживёт...

— Как знать... Ведь наступает момент, когда всё происходит само собой...

В чистом, так сказать, виде...

— А не бывает чистой смерти или чистой жизни... Всё нуждается в причинах и формах. А если они не проступают, их дорисовывают от руки... Благо, художники у нас не перевелись.

## 7

«И за борт её бросает в набежавшую волну...» В 1669 году в морском бою на Каспии у Свиного острова вольные казаки Степана Разина разгромили персидский флот. По легенде в этом бою в плен к казакам попала дочь персидского главнокомандующего Мамед-хана — «персидская княжна». Дальнейшее известно со слов голландского путешественника Яна Стрейса: «При нём была персидская княжна, которую он похитил вместе с её братом. Он подарил юношу господину Прозоровскому, а княжну принудил стать своей любовницей. Придя в неистовство и запьянев, он совершил следующую необдуманную жестокость и, обратившись к Волге, сказал: “Ты прекрасна, река, от тебя получил я так много золота, серебра и драгоценностей, ты отец и мать моей чести, славы, и тьфу на меня за то, что я до сих пор не принёс ничего в жертву тебе. Ну хорошо, я не хочу быть более неблагодарным!” Вслед за тем схватил он несчастную княжну одной рукой за шею, другой за ноги и бросил в реку. На ней были одежды, затканые золотом и серебром, и она была убрана жемчугом, алмазами и другими драгоценными камнями, как королева. Она была весьма красивой и приветливой девушкой, нравилась ему и во всём пришлась ему по нраву. Она тоже полюбила его из страха перед его жестокостью и чтобы забыть своё горе, — а всё-таки должна была погибнуть таким ужасным и неслыханным образом от этого бешеного зверя». Так ли оно было? Давным-давно уже нет на земле никого из тех, кто мог бы это подтвердить или опровергнуть...

К своему стыду я совсем недавно узнал, что Персия и Иран это одно и то же. Официально название изменили только в 1935 году. Страна ариев... И имя Арзо — арийское. И чего только в его семантических закоулках не прячется!

«На простор речной волны...» Думал ли Дмитрий Садовников, что ключевое слово в его сочинении — «простор»? Я вышел на просторную и пустынную ранним утром Кольцовскую улицу и пошёл куда глаза глядят... Мне было легко, потому что я давно запретил себе истолковывать и оправдывать события. Статус участника и персонажа представлялся мне единственно возможным.

Был ли я бездушен? Смею надеяться, что нет. Просто многое должно было резко измениться. А резкие изменения всегда следует упреждать. И играть в таких случаях возможно только первым номером. А если сдаться на милость перемен, то никакой милости не последует...

А главного режиссёра театра вскоре уволили... И когда спрашивали, кто и за что, — следовал ответ: «Без комментариев». И в пугающем объёме этих слов легко помещалась вся здешняя история...

И в самом деле, разве можно так безалаберно относиться к государственному реквизиту? Одалживать его кому ни попадя и для непонятных целей... Странно, что руководителю по барабану, как используется имущество подведомственного учреждения. А использоваться оно может самым криминальным образом... А может быть, он обо всём этом — ни сном ни духом?.. Тогда это просто очаровательно. Нужен ли рулевой, не ведающий, что творится на его челне? Неведение, ясное дело, — билет за борт... И ведь только так чёлны прежде и выплывали... И, похоже, будут выплывать и впредь...

Я и сейчас думаю, что так называемые принципы — это род красок, которыми *post factum* декорируется портрет произошедшего. А в моменте человек всё равно поступает так или иначе, исходя лишь из ощущения, а не из умозаключения, — потому как вся логика переплавляется именно в него. А единый набор формул, который у каждого второго, как паспорт имеется во внутреннем кармане, нужен лишь для предъявления по требованию... Это такие скрепы в игре, где никто никому ничего не должен. И лишь если принять этот холодный постулат, то сохранится гипотетический шанс уловить робкую теплоту на зыбких здешних путях...

Я оглянулся. У подъезда стоял кто-то из старожилов. Я так и не понял, кто именно... Со спины он был похож на Клигмана, когда повенулся в профиль — продемонстрировал объёмный живот Нахмановича, а лицом походил на плутоватого председателя жилтоварищества... И при этом облачён был в малиновый пиджак... Впрочем, менялись и цвет пиджака, и овал лица, и телосложение... Неуловимо, легко, стремительно... Черета перевоплощений длилась вплоть до внезапного растворения этого типа в зыбкой рассветной дымке... И у подъезда уже не было никого. Лишь дымок из урны от брошенного окурка...

Утро наступало неохотно. Роскошные витражи звёздного неба тускнели через силу, беспардонная тишина категорически не желала отступить... Я шёл в никуда и не чувствовал своего тела. Разве что слабые отголоски детской зубной боли... Устраивала ли меня такая расстановка вещей? Я не задавался этим вопросом. Невесомость меня не тяготила...

Вскоре все квартиры в доме скупили, двор обнесли решёткой, и простому смертному попасть туда было уже невозможно... Нашлось ли там место для Арзо? Вряд ли. Нужных денег у неё не было, а продаваться вместе с квартирой... Хотя жизнь научила не удивляться ничему, потому как недоумение с нею несовместимо...

...Всё никак всерьёз не светало. Я глядел на небо и не понимал, где же солнце... Но при этом был уверен, что оно таится именно там. Ведь на фасаде его не было уже очень давно. А может быть, и не было никогда.

---

*Анна Лужбина*

## СЛУЧАЙНЫЙ ЧЕЛОВЕК С УЛИЦЫ

*Рассказ*

Для отъезда Марина выбрала самый пустой день, когда рядом не было ни людей, ни привычных звуков: соседского пения, стука швейной машинки и скрипа паркета. Развернула фотографии к стенке и прикрыла канареек платком, чтобы не голосили. Хотела присесть на дорожку, но не стала, ушла просто так, хлопнув дверь.

По дороге к станции никого не встретила, даже ларёк с мороженым закрылся на перерыв — вдалеке было видно, как мороженщица поливает флоксы из ржавой лейки. В ожидании электрички заплакала, но так, чтобы не двигалось лицо и не было ни одной лишней слёзки. Потом курила в тамбуре, и какая-то женщина сделала замечание, что в вагоне нечем дышать — всё в дыму, и даже пожаловалась машинисту. Машинист не разобрал жалобы, только спрашивал по громкой связи, пробиваясь сквозь шум и шипение: что, что?

Марина молча продолжала курить до тех пор, пока недовольные не разошлись по другим вагонам. Устроилась на полу тамбура, хотя никогда не сидела в транспорте на полу. Закинув на чемодан ноги, смотрела снизу вверх на берёзы — представляла, что это кино. Берёзы сменялись зданиями, — чем ближе к Москве, тем здания сильнее и строже.

Вышла на Ленинградском вокзале, протащила чемодан с грохотом через все переходы и лестницы, не поднимая и не жалея колёсики. В вагон метро зашла, не пропуская тех, кто выходит, поспешила занять поскорее свободное место. Чемодан подпрыгивал на чьих-то ногах — закусила язык, чтобы не извиняться.

Уже на выходе из метро застряла каблуком в эскалаторе — испугалась так, что перестало хватать дыхания: вдруг засосёт и она умрёт, не успеет пожить по-новому. Но ловушка открылась, каблук выскочил: Марина вышла из вестибюля и на секунду остановилась. Яркие ларьки и серые дома, занятые люди в костюмах, а вдалеке — цирковой вагончик, и откуда взялся?

Уже в общаге скинула туфли и рухнула на кровать, скрипучую, пружинную, и лежала просто так, не шевелясь, думала, как дальше быть. В коридоре кто-то свистел.

---

*Лужбина Анна Андреевна* родилась в Москве в 1991 году. Окончила философский факультет РГГУ и Московский Институт Психоанализа. Автор сборника малой прозы «Юркие люди» (2023) и романа «Крууга» (2025). Лауреат литературного конкурса «Русский Гофман». Проза печаталась в «Дружбе народов», «Новом мире», «Знамени». Живёт в Москве.

Соседка ещё не приехала. Через силу поднявшись, Марина вывалила из чемодана вещи, чтобы первой занять полки получше. Но из-за усталости стукнулась скулой об угол дверцы — как в газетном анекдоте, до звёздочек, и зачем-то прижала к лицу кулак. Так и встретила новую соседку: с кулаком у скулы, полулёжа на куче белья.

— Вообще-то я очень везучая, — сказала Марина после знакомства и снова перебралась на кровать.

Соседка молчала.

— Очень везучая. — Марина вытянулась, упёршись ногами в бортик, а потом отругала себя за то, что говорит неуверенно. — Вообще-то. Но тогда, когда об этом не думаю. Если думаю, планирую, то не работает, а так, если не думаю, то получается, ну и нормально всё, если не думать.

Уснула быстро, отвернувшись к холодной стене, в пижаме, из которой давно выросла, — взяла по ошибке вместо новой. Подумала мельком перед сном, что электричка так и не остановилась — всё едет и едет.

Наутро с солнцем выкатился фингал и охрипло горло — может, потому, что курила в тамбуре без перерыва. Так и пошла первого сентября с подбитым глазом и без голоса: когда толкалась у входа в институт, пробивая дорогу локтями, охранник спросил несколько раз, на какую Марина поступила специальность.

— Учительница начальных классов, — прохрипела Марина.

Но уже к обеду отловила соседку в гардеробе и показала везение, объясняя всё жестами, потому что голос пропал окончательно. Кто-то перепутал, видимо, Маринин плащ со своим — положил деньги во внутренний кармашек и даже застегнул на молнию.

— Фортуна! — сказала Марина одними губами, поднимая большие пальцы — все в заусенцах, — и с улыбкой посмотрела в окно — там виднелось тяжёлое небо. — А ты говоришь — почему, почему... По кочану.

Вышла потом на улицу и шла, не замечая дождя, как не замечают его лесные звери. На везучие деньги купила макароны-рожки, сироп от кашля, сигареты и кошачий корм. Марина и раньше спасала бездомных котов и подкармливала самых задиристых — тех, кто не хотел спасаться, как бы свободных. А тут под общагой жила целая стая: Марина разложила корм по пластиковым мискам и проследила, чтобы всем досталось. Мама-кошка только родила, а уже снова ходила беременной, раскачивая круглое пузо, — Марина отложила часть денег кошке на будущую стерилизацию.

К первым заморозкам устроилась официанткой в кафешку рядом с учёбой: разносила дешёвый кофе и бизнес-ланчи, разогретые в микроволновке. Из-за работы пришлось прогуливать пары — к концу семестра нахватала троек и лишилась стипендии. Тогда впервые почувствовала — тонет, но испугалась не дна, а сильной руки, что вернёт в привычную лодку. Любую привычную лодку по течению уносит домой.

Но кто-то сделал перевод на карту — по ошибке, деньги пришли от какого-то Михаила. Марина радовалась, устроила пир — пельмени и пиво, — пригласила студентов постарше, хотя каждого боялась до дрожи. Взрослый студент ей сказал, что одиноким кошкам помогают люди, а одиноким людям помогают ангелы, среди них как раз есть Михаил.

Во втором семестре добавились пары, исчезла стипендия, с работой в кафешке попеременно не хватало то денег, то времени. Марина делала всё по правилам, пусть и опаздывала на каждую смену, но в один день всплыла, вылила на брызжащего клиента кофе — прямо в лицо, хотя метила за шиворот.

Марину уволили быстро, без лишних вопросов: менеджер только покрутил пальцем у виска и посочувствовал Марининой матери. Одной рукой протянул трудовую книжку, а второй нервно расчёсывал подбородок — Марина слышала звук отросшей щетины.

Потом думала — как бы не сглазил, столько времени прятала, а тут вспомнили. Ходила с осторожностью, крутила головой, ощущала, да так и встретила по случайности с матерью. Ну как по случайности: та сидела на лавочке недалеко от общаги и явно ждала — на плечах и шапке собрались сугробики. Марина хотела проскользнуть незаметно, но встретила с матерью взглядом, резко развернулась и спряталась за кустом. Мать поднялась с лавочки и пошла в сторону Марины — тягуче и медленно, будто тротуар был покрыт смолой, а не снегом.

Мать было невозможно видеть, и во всей её жалости, и ещё в чём-то новом, чего Марина не знала. Мать по-змеиному стянула кожу, а внутри — новое существо, вместо змеи появилась корова, и оказалось почему-то страшнее.

Марина вернулась в общагу ночью, закрыла дверь на два оборота вместо привычного одного. Лежала в постели, упёршись в бортик, и думала: ехать бы, ехать в электричке, слушать колёса, гремящие двери, смотреть кино из берёз, не зная ничего о будущем.

В дом Ивановых Татьяна попала случайно, хотя в случайности никогда не верила — говорила, что Бог ничего не делает попусту. Но тут, и правда, совпало: знакомая устроилась к Ивановым домработницей, собрала рекомендации, а в последний момент передумала — далеко было ездить.

Татьяна пришла вместо знакомой, после какого-то бестолкового с ней разговора — без бумаг, без паспорта и без прошлого. По такой же случайности чем-то Ивановым понравилась. Может, тем, что не стала юлить, а сразу честно сказала: я — не та, кого ждали, я — Татьяна. По-солдатски ударила себя несколько раз куда-то в область груди, и из-под красных пуговиц выскочил серебристый крестик. Наверно, именно он и произвёл впечатление на Ивановых: они боялись воровства, а верующие не воруют.

Татьяну взяли на испытательный срок, потом взяли полностью, и никто почему-то не верил, что вот так приняли случайного человека с улицы в богатый дом. Ивановы Татьяну полюбили, хотя у кого-то из них вырвалось как-то обидное «не за что любить». Домработница, как в чернушном кино, грустная русская женщина: на круглом лице высечена жизнь, обязательно тяжёлая — кажется, его можно снять, как маску, но обнаружить под ним точно такое же.

Татьяна убиралась с удовольствием, с удовольствием готовила что-то, когда не успевал повар, отводила детей куда-нибудь, когда не успевала няня. Татьяна проявилась на детских рисунках — цветастой и круглой, её запомнили учителя и соседи. Ивановы платили ей премии и часто уговаривали не уезжать на ночь — Татьяна и не спешила уезжать. Почему-то для всех она стала естественной, как часть природы, трава или камень: она всегда угадывала, брать ли зонт, а если подходила к яблоне, яблоко падало прямо ей в руку.

В доме Татьяна знала настоящее место для каждого предмета, даже привезённых с моря стекляшек, наклейки или стёртого до комочка ластика. Могла расставить кукол и солдатиков, медведей и зайцев, разбирала одежду — стирала и гладила, развешивала на бархатных плечиках. Протирала картины, книги, чашки и чайники — и даже если, запутавшись, находила предмету новое место, Ивановы не возвращали обратно.

Ничего не выбрасывала, старое постельное бельё нарезала на тряпочки, и как-то услышала от Ивановой: у Татьяны не было, наверно, молодости, она сразу же родилась бережливой.

Вдруг уволилась няня, и Ивановы предложили Татьяне заняться детьми, ведь та с ними ладит не хуже, чем с домом. После этого так же случайно, невпопад, Татьяна рассказала, что летом живёт на маленькой даче где-то далеко, а зимой, когда холодно, уже нигде не живёт. Работает у Ивановых, а если нужно уехать, — земля греет, а Бог даёт то, что нужно, и иногда Татьяна спит в подъездах, иногда в прочих тёплых местах, которые делают для бездомных добрые люди. На высказанное Ивановыми удивление Татьяна ответила, что так разделили имущество после развода: муж взял квартиру и кошку, а Татьяна — дачу и старую таксу Глашу, умершую через год.

Ивановы потом долго спорили друг с другом — все вчетвером: родители хотели уволить Татьяну, но дети её отстояли. Пустили в сторожку — тёплую маленькую башню над гаражом с видом на дорогу, на ёлки, на чёрную соседскую крышу. Так Татьяна стала к Ивановым ещё ближе: жила вместе с ними, убиралась, пока не найдут нового человека, и работала няней, спокойной и справедливой. Вместо платы за жильё пекла пироги: в таком количестве, что не успевали есть — раздавали соседям.

В башне Татьяна жила осторожно, как в гостях, хотя и заклеила стены фотографиями так плотно, что не осталось свободного места. В углу поставила вытертую взглядом иконку, чёрную лампадку, но больше ничего не привезла, только Иванов занёс к ней кровать (пружинную, односпальную) и квадратный комод. Ну и гигантские неудобные сапоги, найденные Татьяной у станции, тоже принёс в башню: ходить в них она не могла, но для чего-то хотела использовать, — Иванов пошутил, что для спасённых котят.

Наверное, всё тогда и испортилось, как только Татьяна поселилась в башне, потому что с жильём всегда не так просто — пирогами не отплатить, когда ночуешь на чужой земле. Иванов начал приходить и жаловаться на жизнь, а Иванова брала любопытством: увидев фотографии, стала расспрашивать Татьяну о прошлом. Татьяна отмахивалась, а потом как-то проговорилась случайно, что есть дочь, но они не общаются: когда развелись с мужем, дочь стала жить сначала с ним, а после сама по себе в общежитии.

Иванова после этого несколько дней молчала, но потом снова принялась расспрашивать и, видимо, что-то подозревать, но Татьяна не говорила, что с дочерью, и даже стала от Ивановой прятаться. Только сказала, что несёт этот крест так же, как маленький, нательный, и что на самом деле она всегда с дочерью рядом — пусть та её позовёт, а раз не зовёт — значит, достаточно пока так, как есть.

Иванова стала расспрашивать ещё настойчивее, обсуждала её за ужином со скучающим Ивановым, а Татьяна всё слышала: как так, дома нет — живет в их башне, нянчится с их детьми, а своего же ребёнка не видела уже столько лет, и почему вообще дочь ушла? Не от хорошей жизни уходят дети из дома и обрывают общение, и вообще её невозможно слушать — хочется взять за плечи и потрясти, потому что слабая и безропотная, как овечка.

Иванова нашла всё сама, по связям деятельных людей, по соцсетям и поисковикам. Говорила за ужином, что у Татьяны и правда есть взрослая дочь, но больше не было ничего — ни сроков, ни убийств, ни судов.

Татьяна видела, как Иванов сереет, а Иванова каждый день что-то ищет, чувствовала, как становится хуже — так всё сильнее протекает старая крыша.

Пряталась от Ивановой, когда было можно, тяжело вздыхала и почему-то стала раздражать этим всех, кроме детей.

Как-то вечером, после того, как детей уложили, Иванова поднялась в башню Татьяны. Постучавшись в стену, открыла дверь, в которой не было замка, но та не открылась полностью — упёрлась в гигантские сапоги.

— Так вот зачем сапоги, — натянута улыбнулась Иванова и, протиснувшись в комнату, постояла какое-то время у входа — может, ждала, что Татьяна опять убежит, и хотела поймать. — Как это вы не сказали, что нужно сделать замок? А я не подумала.

— Так я ничего не боюсь.

— Ладно, — Иванова посмотрела на дверную ручку — почему-то с внешней стороны, потом, прикрыв дверь, рассмотрела все фотографии. — Я, Татьяна, как ваш работодатель... всё-таки должна узнать, ну почему вы не общаетесь с дочерью?

Татьяна молчала, а Иванова вытащила из внутреннего кармана куртки чёрную бутылку вина и два пластиковых стаканчика, смятых в гармошку.

— У меня есть её адрес, я всё нашла, — поставила бутылку на пол и села рядом с Татьяной, достала телефон, потом убрала и стала записывать что-то на листочке. — Я уверена, что так будет правильно — разобраться, поговорить... Я смогу вам помочь. Вот её адрес. Ваша дочь волонтерит в деревне.

Татьяна продолжала молчать, а Иванова, дописав адрес на листочке, разлила по стаканчикам вино.

— Вы сделайте что-то с этим, Татьяна, потому что я больше так не могу, — Иванова выпила залпом и сразу же налила снова. — Вы так нам помогаете, давайте позвём её к нам в гости? Давайте мы вас помирим? В этом же нет никакого преступления, нет ничего опасного, что вы не общаетесь, но оно не даёт теперь мне покоя, вы понимаете? Вы же наша няня! Вы следите за нашим домом! Как можно вот так отпустить? Давайте позвём вашу дочь, поговорим втроём, вы накроете стол, а я буду как судья, я сглажу углы...

Иванова обняла Татьяну за плечо, но быстро отпустила, словно обожглась.

— Это неправильно, совершенно не по-человечески, это жестоко... — Иванова снова выпила. — Вы же наша няня... Отличное, кстати, вино — испанское, крапула.

Татьяна тоже сделала маленький глоток.

— Так что, если вы мне всё не объясните, — понизила голос Иванова, — я сама напишу вашей дочери и сама же вас помирю.

Татьяна вздохнула и развернула к Ивановой большое лицо: увидела себя в оконном отражении — на секунду подумала, что в окно заглянула сова.

— Я родила рано, — сказала Татьяна, — тогда мне нечего было дать, я хотела, а не могла. Как научилась любить, так им уже было не надо — ни ребёнку, ни мужу. У дочери дедов характер, я этот характер знаю — нужно время, а то всё делает наперекор, ни себе, ни людям.

— Так почему вы не объяснитесь? Ну почему не сделаете хоть что-то сейчас? Действуйте же, Татьяна, действуйте! Так всем полегчает, отпустит!

— Не буду.

— Да почему?

— Надо подождать.

— Да откуда вам это известно, если вы с ней не общаетесь? Татьяна, мы если чего-то хотим, но не получаем, значит, плохо хотим! Вот, вы возьмите адрес!

— Я знаю адрес, — Татьяна вежливо отставила стаканчик в сторону. — Просто дочь не знает, что я знаю.

— Как же вы бесите иногда, Татьяна, вот я понимаю вашу дочь прекрасно, я всё понимаю!

Татьяна не ответила, а следующим утром уволилась и уехала, забрав с собой гигантские сапоги; дверь без них открылась нараспашку, и через башню насквозь задул ветер — сразу кончилось лето. Яблоня собрала яблоки под самую верхушку кроны и засыпала ими крышу — птицам и осам.

И пусть Татьяна этого не узнала, но к Ивановым пришла работать та самая её знакомая и не осилила даже испытательный срок, хотя в ней не было тайны. Ничего не терпела, не говорила странностей, в ней всё казалось совершенно понятным — особенно то, как далеко добираться. Она говорила об этом всегда и раздражала потому ещё больше Татьяны, и раздражала даже детей. Был август, когда она ушла, и дом Ивановых остался и без няни, и без домработницы.

Институт у Марины закончился быстро: дни сливались в один, менялись без остановки соседки, кошки, учителя, подработки. Забрав диплом, Марина думала работать в школе: казалось, ей точно понятно, что и как говорить, чему именно нужно учить — так, чтобы стало иначе. Но ни в одной из приличных школ не было нужного места; куда ни приходила, всегда не везло.

Школа с единственной открытой вакансией стояла на пустыре, с видом на транспортное кольцо и мясокомбинат Микояна. На собеседование Марина попала в каникулы, прошла по пустым коридорам — ни единого звука, даже линолеум гасил стук каблучков.

Директор приняла Марину, обречённо всматриваясь в резюме, пока Марина так же всматривалась в лицо директора — уставшее, бледное. Стало вдруг страшно: кем угодно стать, но не такой же, делать что угодно, но в противоположную сторону. Марину взяли, выдали класс, но всё как будто — из жалости.

В первый учебный месяц Марина записала в блокнот, как не надо: когда сухо, неинтересно, по правилам и без желания. Сначала молчала, а потом стала по чуть-чуть объяснять первоклассникам: никого не слушайте, живите так, как нужно вам, вы не звери на скотобойне, а люди. Нет ничего страшнее, чем предать себя, жить с нелюбимыми, слушать тупых, получать деньги от тех, кого презираешь. А хотите по-новому, — тогда так и делайте, чтобы по-другому, чтобы против, потому что само собой ничего не изменится.

После первого замечания от директора стала говорить ещё больше и купила красный костюм. Повесила его над кроватью, показала новой соседке, но надеть не решалась. Посмотрела «Общество мёртвых поэтов» — тоже захотела идти не по учебнику и вести уроки на улице. К концу учебного года встала на парту, как Робин Уильямс — была уверена, что теперь все поймут. Но вместе с ней никто не встал, а после кто-то из первоклассников пожаловался родителям, а те — снова директору.

— Если хочешь вбить гвоздь в чужом доме, — сказала директор, подперев тяжёлую голову, — нужно хотя бы спросить разрешения.

— Что, уволите?

— Не уволю, — директор пожала плечом и стала что-то записывать, будто уже с Мариной не связанное. — Лучше так, чем никак.

— Тогда я сама уволюсь.

— Почему?

— Вы меня не понимаете, мы с вами совершенно по-разному смотрим на образование.

— И что будешь делать?

— Уеду туда, где не будет директоров.

Директор снова пожала плечом, встала и открыла окно — Марине захотелось вдруг разогнаться, оттолкнуться и вылететь — в небо.

— И где свежий воздух, — добавила она.

Лето Татьяна дожила на даче, а осенью села на электричку, потом в автобус, но, не доехав, вышла — укачало. После долго брела пешком, не наступая на жёлуди, по кривой тропе мимо грибниц, тёмных луж, пожелтевших дубов и берёзок.

Когда вышла из леса — почему-то сразу же закружилась голова, и, чтобы не упасть в траву, Татьяна села на кочку и осмотрелась. Но впереди не было ничего — только выцветшее поле, и туман, и зонтик тяжёлого неба, а совсем вдалеке — железнодорожные пути, по которым ехал бесконечный товарняк.

Татьяна встала и поплелась куда-то вбок и вверх, где, по её мнению, могли быть дома, но ничего не было, только деревья, болота и кочки. Небо темнело, в деревьях кто-то шелестел лапами, бил крыльями, — звери, все занятые делом, а Татьяне хотелось туда, где люди.

Она остановилась, положила руку на грудь и подумала, что вообще любит наблюдать за людьми. Особенно, почему-то, за тем, как они покупают хлеб и сладкое. Или за играющими детьми Ивановых, или на лавочке в парке, — когда кто-нибудь хочет подманить белку и забывает ненадолго, что на него смотрят.

Наконец Татьяна поднялась ещё выше и увидела дома: она сверилась, прикрыла глаза — точно здесь. Осторожно прошла вперёд, на шумные голоса, и увидела пёструю толпу людей: зеваки стояли, окружив что-то, как будто упавшее с неба. Татьяна подошла поближе, но не из любопытства, а чтобы спросить, где школа, но вместо вопроса — ахнула. Люди закрывали собой корову: та лежала на боку, беспомощно раскинув ноги. Татьяна заспешила дальше, но увидела краем глаза, что из коровьего живота течёт кровь.

Дошла до небольшого здания в центре — с ажурным крыльцом, — то ли администрация, то ли маленькая полиция. На ступеньках крыльца сидела женщина и что-то сосредоточенно записывала в тетрадь. Женщина была красивой: черноволосой, носатой, большегрудой, но с тонкой талией — как актриса в итальянском кино.

— Если ищите чью-то могилу, — это не к нам, — женщина не подняла головы, но в задумчивости прикусила ручку. — У нас тут убийство коровы — нам ни до чего.

— Да я так, просто шла мимо... Скажите, где у вас тут школа? — Татьяна подошла поближе.

— А... там. — Женщина махнула рукой.

— А что же с коровой?

— Убили... Но мы ею занимаемся. Может, собака загрызла, но, скорее всего, — кто-то по пьяни. Вот люди живут у нас — изверги.

— Ужасно.

— Да уж... — Женщина вытащила из кармана сигарету, покрутила её в пальцах. — А зачем вам школа?

— Я слышала, что у вас тут работают волонтеры, учителя — хотела взглянуть.

— Вы — учитель? Журналист? — Женщина стала внимательно Татьяну рассматривать. — Что-то не похоже. Такие, как вы, ищут могилы или пропавших родственников.

— Нет, просто мне интересно.

— Волонтёр там есть, детей нет. Поэтому уезжает наша Марина — классы осенью не набрались.

— Марина, значит?

— Марина.

— А что теперь хочет делать Марина? — спросила Татьяна.

— Учителем хочет снова в городскую школу, воспитателем или няней. Уезжает, в общем. А зачем вам? Сами и спросите.

— Есть хорошее место, — Татьяна достала из кармана листочек и написала на обратной стороне адрес Ивановых и их телефон. — Вот там нужна няня. Передайте, пожалуйста. Это хорошие люди.

Женщина с прищуром посмотрела на листочек, вежливо отодвинув сигарету подальше.

— Да такие не возьмут.

— Эти возьмут, возьмут точно...

— Ну ладно. Я передам, а там — её дело.

Татьяна кивнула и, развернувшись в сторону школы, сделала пару шагов.

— Послушайте! — крикнула женщина. — А нет ли у вас такого же телефончика, но не в Москве, а там, где лето круглый год?

Она по-доброму расхохоталась, показав красивые зубы, и Татьяна улыбнулась ей тоже.

— И могилы я посмотрю, если понадобится, только позже приходите, у нас целая картотека!

Татьяна махнула рукой и пошла дальше по дороге мимо домов, с любопытством заглядывая в чужие дворы. Остановилась, когда обогнула школу, потому что увидела у дубовой пришкольной рожи знакомую светловолосую голову. Татьяна подошла поближе и спряталась за большой дуб — вдохнула осенний желудёвый запах.

— Господи, ты всегда помогаешь мне! Если ты слышишь, — дай знак. — Марина стояла к Татьяне спиной — ветер растрепал её волосы и вытянул антеннами к небу. — Я так задолбалась, Господи.

Татьяна стояла какое-то время, держась за дуб, а потом отошла и молча спряталась в облаке — большом и серебряном.

---

*Бесо Хведелидзе*

## Морской суп

*Рассказ*

*С грузинского. Перевод Нины Шадури-Зардалишвили*

Инга и Манучар стояли на каменистом берегу и глядели на море. Холодный декабрьский ветер ерошил лоснящиеся волосы.

— Э, а за той горой наш старый дом! — Инга указала вправо, на далёкий мыс.

Манучар тоже посмотрел в ту сторону.

— А наш дом сейчас чей дом? — спросил он через некоторое время и подобрал камешек. — Вот ещё один жёлтый камешек, Инга! — тут же добавил он и бросил находку в котомку.

— Чужой, — ответила Инга и подняла камешек в форме сердечка.

— Вот, ещё один! Погляди, похож на лицо старика!.. А когда наш старый дом снова будет нашим?

— Папа сказал, — он больше не наш...

— Но ведь я маленький!

— И что?

— Я бы поместился...

\* \* \*

Отец вернулся в дощатую лачужку поздно. Погладил детей по головам, присел и принялся доставать из полиэтиленового мешка разное быльё.

— Что сегодня принёс, па? — с улыбкой спросила Инга.

— Снова хвою... И травы сухие. Всё перевероршил. Вот, дикая кинза... Тут и подорожник есть, оказывается. Увядший. Инга, помоги землю счистить!

---

*Бесо Хведелидзе* — прозаик, драматург. Родился в 1972 году в Тбилиси. В 1996 г. окончил факультет журналистики Тбилисского государственного университета им. Ив.Джавахишвили, в 1999 г. — Тбилисский институт культуры. Лауреат ряда литературных конкурсов и премий. Печатался в «Октябре» и других журналах. Живёт в Тбилиси. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

*Нина Шадури-Зардалишвили* — литературовед, журналист, переводчик. Магистр филологии. Родилась и живёт в Тбилиси. Окончила филологический факультет и аспирантуру Тбилисского государственного университета (ТГУ) имени Ив.Джавахишвили. Автор статей по теории литературы. Автор, соавтор, составитель, редактор, переводчик более 30 художественных, научных и публицистических изданий. Лауреат ряда литературных премий.

— Больше ничего? — надулся Манучар.

Инга подошла к отцу и принялась очищать зелень.

— В кустарниках пусто... Не будем же сухие ветки грызть... Воду вскипятили?

— Да, — сказала Инга, вытерла ладони о подол и подошла к кастрюле. — А мы сегодня красивые камешки собрали...

— Так отварили бы...

— Уже засыпала. Когда солнце садилось. Кипят.

Отец заглянул в кастрюлю. Дно было покрыто камешками разной формы.

— Правда красивые... — сказал он.

Засыпал хвою и травы в миску, налил воды и промыл. Затем выложил всё на доску и принялся нарезать ножом. Закончив, ссыпал зелень в кипящую кастрюлю и оглядел пустые миски.

— Сегодня ещё одного мёртвого человека вынесло море, — вспомнила Инга. — Он тоже был в военной форме. С длинной бородой и седыми волосами. Дарья и дядя Карло вырыли яму и закопали. Дарья ругалась с дядей Карло, почему, мол, так глубоко хоронишь. Дядя Карло сказал, иначе придут бешеные собаки, отроют и съедят...

— И что потом? — спросил отец и помешал воду деревянной ложкой.

— Потом вот на столько выкопали, — Инга приложила руку к поясу. — И Дарья очень громко плакала...

— Чёрные самолёты летают, пап! И коричневый корабль прошёл! А оттуда всё время стреляли! — добавил Манучар.

— Пять ложек Инге... Пять ложек Манучару... — Отец принялся разливать суп. — По сколько камешков положить?

— Мне десять! — заявил Манучар.

— Тогда и мне десять! — поддержала младшего брата Инга.

— Два-пять-восемь-десять — это Инге. И Манучару — три-шесть-девять-десять... Осторожнее ешьте, не проглотите камешки, как в тот раз!

— Отче наш, сущий на небесах... — начала Инга и тут же остановилась. — Па, а как дальше?

— Не помню, — буркнул отец.

— Да будет воля твоя, — помог сестре Манучар.

— Нет, не так. Это потом.

Отец и дети осторожно втягивали в себя горячую морскую воду. Перекатывали во рту камешки, со вкусом обсасывали, как косточки, и выкладывали по краям тарелок.

— Невкусный! — сказал Манучар про один из камешков. — Папа, а мы ещё долго здесь будем?

Отец тяжело вздохнул и помешал ложкой в тарелке.

— Здесь всё время холодно! — с обидой проговорил Манучар.

— Если тебе холодно, придвинься к огню, — посоветовала Инга и подложила в огонь щепок. — А ночью обнимай меня крепко-крепко.

— Эх, хорошо! — отец закончил есть и придвинул к Манучару свою кучку камешков. — Завтра верните их морю. Поблагодарите и соберите новые... Мне вставать рано. К болотам пойду. Может, хотя бы лягушку поймаю... Карло говорит, ущелье с той стороны заминировано. Но всё равно проберусь... И Карло с собой возьму. Они тоже на последнем издыхании от голода...

— А что, лягушек можно есть? — спросил Манучар.

— Сейчас уже всё можно есть, — ответил отец и сел на кровать.

\* \* \*

Рано утром отец и Карло отправились к болотам. Шли берегом. Каждый держал остро наточенную палку. Двигались мягко и бесшумно.

— Дарья моя обезумела... Не справляется с голодом. Иной раз меня не узнаёт, — сказал, шагая, Карло.

— Набери хвои, свари ей морского супа... Мои только этим и держатся... А мне каково, как думаешь... Пупок к позвоночнику прилип, правда...

— Её тошнит от этого супа... От всего тошнит... От меня её тоже тошнит... Знаешь, что я вчера заметил?

— Что?

— Когда мертвеца вынесло на берег... Она такими глазами смотрела... Всё, думаю, сейчас вопьётся в него зубами и сожрёт...

— А от этого её бы не стошнило?

— Ночью бредила во сне. Откопаем, говорит. Всю ночь не спал. Боялся, чтобы со мной чего не сделала...

— Как бы моих детей не слопала, — с горечью покачал головой отец.

Вдалеке послышались громовые раскаты.

— Опять бомбят, — сказал Карло. — Может, плот смастерим, а?

— Как? Голыми руками, Карло? У нас же ничего нет. Сам знаешь, я в одних тапочках бежал. И Инга с Манучаром точно так же.

— Замёрзнем мы тут и подохнем в чёртовых лачугах, — не унимался Карло.

— Подождём ещё немного... Может, кончится это проклятье!

На лице Карло вдруг проступила жёсткость.

— Это не война — это ад! Мы ведь с Дарьей позже вас выбрались отсюда. Всего навидались! Другие-то как подумали: пощадят, мол, нас. И вышли из укрытий. Хрен тебе! Всё море в тот день было цвета гнилой хурмы...

— Под ноги гляди, не поскользнься! — посоветовал отец и присел на ближайший камень. — Далеко ещё?

— Столько же, — ответил Карло и сел рядом.

Издали донёсся жуткий собачий вой.

— Хоть бы одну бешеную собаку поймать, — мечтательно произнёс Карло.

— Отравимся!

— Горячего мяса очень хочется...

\* \* \*

Манучар подобрал ещё один камешек и забросил в котомку на спине.

В это время вдали раздалось страшное завывание.

— Инга, а если собаки прибегут?

— Залезем вон на то большое дерево!

— А если зайти в воду?

— В море сейчас входить нельзя. Оно холодное. Умрём.

— А если собаки не уйдут?

Инга ничего не ответила и наклонилась за камешком. И тут из кустарника с воем выскочила свора собак — всех мастей, цветов и размеров.

— Манучар! — Инга схватила брата за руку.

Помчавшись сломя голову, они едва успели взобраться на высокое дерево.

Собаки скакали у подножья, из пастей стекала слизистая пена, а вместо рычания и лая раздавался натужный сип. Свора несколько раз обогнула дерево, каждый из псов задрал лапу, помочился на корни, а потом все они, высунув языки, там же и уселись.

Их было двенадцать. Они были разными. Все — самцы, все одинаково оголодавшие, с ввалившимися боками. Время от времени они рыкали друг на друга, но сразу же прекращали.

— Папааааааааа! — отчаянно закричал Манучар.

— Папочкааааааа! — подхватила Инга. — Собаки пришли!

На крик детей собаки ответили всё тем же сипом, и было видно, что они не собираются никуда уходить.

— Камни! — спохватилась Инга и открыла котомку, висевшую на плече Манучара.

Инга доставала камешки по одному и кидала их в бешеную свору, оцепившую дерево. Некоторым псам она попала точно в голову. Те с жалобным визгом покинули пост и отбежали в сторону. Оставшиеся продолжали кружить вокруг дерева.

— Постой! Я знаю... — сказал Манучар, расстегнул штаны и направил вниз фонтанчик, от которого исходил пар.

— И я знаю, и я! — поддержала брата Инга и задрала платье.

Это сработало лучше камней. Псы словно почувствовали себя униженными. Они одновременно встряхнулись, потрусили к кустарнику и скрылись из глаз.

— А если снова придут? — спросил Манучар и застегнул штаны.

Инга посмотрела в сторону кустарника. Затем перебралась на несколько веток вверх и оттуда оглядела окрестности.

— Вон, убегают.

— Все?

— Все. К болотам бегут. Видно, чей-то запах учуяли. Манучар! Дома оправимся, быстрее!

\* \* \*

Целых два дня дети, дожидаясь отца в лачужке, варили камешки и ели пустой солёный суп из морской воды. Жена Карло, пожилая Дарья, тоже сидела с ними. Время от времени она засыпала и ужасно храпела.

— Инга, бабушка Дарья — злой дракон? — спросил Манучар, когда она захрапела в очередной раз.

— Тише, дурак!

— А чего она так храпит?

— Драконы не храпят, они изо рта выпускают огонь.

— Как огнём?

— Да.

Отец и Карло так и не вернулись.

— Поймали их, наверное... — тяжело вздохнула к концу второго дня Дарья и повернулась к костру согбенной спиной. — Мины там, говорят... Но звука взрыва не было... Я всё время прислушивалась... Слышу-то я плохо, но...

— Не было, — согласилась Инга и помешала в кастрюльке.

— Если поймали, то расстреляли на месте...

— Отче наш, сущий на небесах!.. Да святится имя твоё... Как надо дальше, бабушка Дарья? — спросила Инга.

— Не знаю я! Кто тебя этому научил? — зло прошипела сквозь расшатанные зубы Дарья.

— Наша мамочка! — пришёл сестре на подмогу Манучар. И продолжил: — Да будет воля твоя...

— Ты, Манучар, маленький и не знаешь... Это потом...

Все трое, с громким хлюпаньем, принялись за морской суп.

— Бабушка Дарья, когда вернутся папа и дядя Карло? — спросил Манучар и прижал руку к разболевшемуся животу.

— Как они вернутся, если их собаки загрызли?

— С папой они не справятся, — уверенно сказал Манучар.

— Подождём. А что ещё делать? Где их искать? Куда я пойду такая? — Дарья поглядела на свои покрытые гнойниками ноги со вздувшимися венами. — Здесь хотя бы огонь...

— А я всё время хочу есть, и у меня болит живот! — простонал Манучар.

— На, ещё... — Инга подлила Манучару морского супа из своей миски.

— Мы все хотим есть! Голод нас и доконает! — Глаза Дарьи болезненно заблестели. — У нас есть острый нож?

— Нож есть у папы, — ответила Инга и сдвинула брови. — Зачем вам нож, бабушка Дарья?

Дарья сразу опомнилась, её сморщенный подбородок задрожал, и она отвела глаза.

— Ногти на ногах обрезать... Гно-ят-ся! — произнесла она по слогам и перекрестилась.

\* \* \*

Утром дети увидели мёртвую Дарью. Она вся раздулась.

Когда Инга и Манучар уснули, изголодавшаяся Дарья на цыпочках вышла из лачуги. Нашла неподалёку тяжёлый камень и вернулась обратно. Встала в головах у спящих детей и с трудом подняла над ними камень. Прижавшись друг к другу, дети одинаково улыбались во сне и ровно дышали.

Откуда-то издалека донёсся собачий лай.

Внезапно Дарья пришла в себя и бросила камень оземь. Она поставила на огонь кастрюлю с водой, насыпала в неё камней, вскипятила и съела морской суп до капли, вместе с камнями.

\* \* \*

Дети похоронили Дарью у лачужки. Тело наглотавшейся камней Дарьи ужасно потяжелело, и они с трудом вытащили его наружу. Присыпали землёй, а сверху набросали камней.

— Как дом, — сказал Манучар.

— Надо бежать! — сказала Инга.

— Почему?

— Собаки придут на запах!

— А если папа вернётся?

— Мы его найдём! Кастрюлю возьмём с собой. И ложки тоже. Морской суп будем варить. По дороге ёлки будут. Может, и шишки. Одеяло я понесу. Берегом будем идти, берегом...

— А я рыбу поймаю руками!

— Конечно, ты же у нас молодец!

— Как папа, — ответил Манучар и посмотрел на ледяное декабрьское море.

\* \* \*

На обшмыганной набережной горел костёр. Над ним кипела кастрюлька. Инга сидела на корточках перед огнём и грела ладони. Манучара нигде не было видно.

— Манучар! — неожиданно крикнула Инга.

— Ау! — слышалось из кустарника.

— Нашёл что-нибудь?

— Только хвою!

Инга помешала воду в кастрюле. Из кустов вышел растрёпанный Манучар. Он набрал хвороста и больших щепок. А пазуха была полна хвоей. Подойдя к костру, высыпал хворост, хвою забросил прямо в кипящую воду и сел у огня погреться.

— Бешеных собак не видать, — сказала Инга.

— А если снова придут?

Инга протянула брату тарелку.

— Отче наш, сущий на небесах... Да святится имя твое... Да придет царствие твое...

— Да будет воля твоя, — подключился Манучар.

— Да. Дальше?

— Хлеб наш насущный...

— Это потом. А как в середине, помнишь?

Манучар отрицательно помотал головой, потом поднёс тарелку ко рту, выпил суп до капли и принялся обсасывать камешки. Обсосав до конца, бросал их к воде.

— Сегодня будем спать на том дереве! — Инга посмотрела налево, а потом повернула голову в противоположную сторону. — А вот и другое есть, повыше...

— Ещё рано... — Манучар глядел на пепельный горизонт. — Солнце не зашло...

— Где ты видишь солнце? — Инга помешала ложкой морской суп.

\* \* \*

В кустарнике слышался шорох.

Дети одновременно повернули головы на звук. Из сухих кустов выбралась громадная чёрная псина с впалыми боками и замерла на месте.

Манучар осторожно поднялся.

— Надо бежать, Инга! — прошептал он и начал собирать камешки.

Собака уселась и, высунув язык, уставилась на детей. Инга взяла в руки кастрюлю с кипящей водой.

— Если двинется, — оболью!

— А я буду камни бросать! — шепнул Манучар. — Она одна? — Только спросил, и из кустарника вылезли ещё три огромных пса. Они уселись там же, рядом с чёрной собакой, полукругом.

— Животные боятся огня. А у нас дрова горят! — сказала Инга.

— Бешеные собаки тоже боятся?

С другой стороны кустарника вышли ещё четыре собаки и тоже выстроились в дугу.

Вскоре к ним добавилась ещё одна четвёрка.

Собаки взяли в полукруг стоящих у костра детей. За спиной у них было одно лишь холодное декабрьское море.

— Зайдём в море, а? — прошептал Манучар и подобрал горящую щепку.

— Замёрзнем и умрём! — ответила сестра.

— Что же делать?

\* \* \*

Собаки с бешеным шипением наступали со всех сторон. С оскаленных зубов сползала белая пена. Одну обдали кипящим морским супом, и она с визгом скрылась в кустах. Манучар держал в руках две пылающие щепы и отчаянно оборонялся. Инга делала то же самое.

Вскоре послышался визг ещё одной собаки. Коричневый пёс отцапал у Манучара половину раскалённой головни и, с обожженной глоткой, страшно визжа, рванул к кустарнику. Борьба не была равной. Тем более что рано или поздно огонь всё равно догорел бы, а дровишки — угли.

— Манучар! — позвала сестра.

Она чуть было не проткнула глаз одной из собак горячей щепой. Потом с трудом отбилась от другой.

— Я здесь! — отозвался сзади Манучар, прижавшись к сестре мокрой спиной.

— Я знаю! — крикнула Инга.

— Что знаешь?

— Беги к тому дереву!

— А ты?

— Я знаю, что делать, — повторила Инга.

Бросила головню, стянула с себя платье и кинулась вперёд в чём мать родила. Прорвавшись сквозь кольцо собак, она понеслась к самому дальнему дереву. Псы одновременно потянули носом и разом ринулись вслед.

Только когда у костра не осталось ни одной собаки, Манучар развернулся и увидел, как обнажённая Инга бежит к далеко стоящему дереву. Все десять бешеных псов мчались за ней.

— Манучар, беги к дальнему дереву!

Отчаянный крик Инги урывками долетал до Манучара. Недолго думая, он выхватил из костра горящую щепу и побежал в противоположную сторону.

\* \* \*

Уснувшему на дереве Манучару приснился сон, что утром он проснулся, лёжа между двумя ветвями. Во сне он первым делом увидел пасмурное небо. Потом посмотрел на декабрьское море и от холода покрылся мурашками. Во сне же Манучар взглянул на другое дерево. На дереве никого не было.

— Инга... — вырвалось у Манучара, и его подбородок задрожал.

Он собрался заплакать, но тут под деревом послышалась песня.

Во сне Манучар посмотрел вниз.

У дерева горел маленький костерок. Вокруг крутилась уже одетая Инга и, напевая, собирала камешки.

— Они ушли? — спросил Манучар во сне.

— Убежали.

— А папа?

— Слезай! Давай пока «Отче наш» вспомним.

— И поедим морского супа?

— Да.

Во сне на каменистом берегу над горящим костром стояла закопчённая кастрюлька, в которой булькал горячий морской суп.

*Александра Малыгина*

## С облаками чувствуя родство

\* \* \*

Автобус отъезжает в Табуны,  
А ты, как истукан, на остановке  
Стоишь, не проявляя ни вины,  
Ни легкоатлетической сноровки.

Куда тебя он может увезти?  
Ты сам себе противен и невнятен.  
И разве душу «ванишем» спасти  
От ржавых разрастающихся пятен?

Так стой и думай, воздухом дыши,  
Дивись стрекозых крыльев золоченьем.  
Для каждой неприкаянной души  
Своя найдётся мера пресечения.

Пусть суть твоих волнений не видна,  
Но жизнь — большая мятая страница —  
Такой поэзией испещрена,  
Которая ни с кем не повторится.

---

*Малыгина Александра Сергеевна* — родилась в 1987 году на Алтае, в г. Барнауле. Окончила Алтайский государственный университет по специальности филолог, преподаватель. Печаталась в журналах «Сибирские огни», «Москва», «День и ночь», «Алтай» и др. Автор шести книг стихотворений. Лауреат международной премии им. А.И.Казинцева (2023). Живёт в Барнауле.

\* \* \*

Пусть над Максимом вырастет сосна,  
А над Серёжей лучше бы берёза —  
Им не страшна воздушная угроза,  
Ни танк, ни нож, ни недостаток сна.  
Им не грозит алтайская весна.

А ты живи, звони из блиндажей,  
С ножа тушёнку ешь, пеки картошку,  
Удочери какую-нибудь кошку,  
Ей тоже страшно, будь с ней понежней,  
Посмотрим, кто из вас кому нужней.

Война закончится, и ты придёшь домой,  
Стыдись того, что всё ещё живой,  
И пряча это в песнях между строчек...  
Но кошку точно привезёшь с собой.  
И неба Новороссии кусочек.

\* \* \*

Над Обью угасающий закат  
Мне ничего совсем не обещает.  
Бежать из города, желательно с вещами,  
Вокруг весь мир, он ярок и богат,  
А ты для смерти полуфабрикат.

Неважно, к морю или сразу в ад,  
Внутри меня такое половодье...  
Я, как и ты, простая тварь Господня,  
Когда в груди пробоина с гранат,  
Непросто строить планы на сегодня.

За всё тебя прощая наперёд,  
Не требуя внимания и ласки,  
Сниму с тебя ответственность за сказки —  
Я знаю, чуда не произойдёт.  
Ты лёд. Я просто вмёрзла в этот лёд.  
И жизнь во мне всё медленней идёт.

\* \* \*

Достать тебя из мозга, натошак,  
Из печени, из лёгких — ты отравя.  
Тобой наказывать, душишь, предотвращать —  
На остальное у тебя нет права.  
Ты заполняешь всё, как звук и свет,  
Как талая желанная водица,  
После тебя живого места нет,  
Ещё придётся с сердцем повозиться.  
Терзай других, вот блюдце с молоком,  
Блины, кутя — какой обряд поможет?  
Мне дотлевать горячим угольком —  
Невыносимо дальше жить без кожи.

\* \* \*

На небесном ситцевом просторе  
Облаков кочуют острова.  
Белая собака в чёрной своре  
Чувствует, что в чём-то не права.  
Ловит воздух, гавкает, вздыхает,  
Смотрит на сородичей с тоской,  
Белых стай, конечно, не бывает,  
Даже за чертою городской.  
Все её щенки в контрастном цвете,  
Друг от друга их не отличить,  
А она одна на целом свете,  
Кто её решится осудить?  
И порой она, кляня природу  
И своё собачье естество,  
К небу запрокидывает морду  
С облаками чувствуя родство.

# *Дружба на вырост*

---

*Вис Виталис*

## Белый аист, оранжевый апельсин

Апельсины — из Марокко.

*Василий Аксёнов*

Бог сказал:

— Эй, ты, тля.

И, не дав опомниться, ударил меня по голове тяжёлой ногой, обутой в кирзовый сапог. Я захлебнулся сладким вечерним воздухом и рухнул на землю, тёплую, словно не успевшую ещё остыть после сотворения, мой белый аист выскользнул из рук, спланировав под железнодорожную насыпь, а мой апельсин, по нездешнему яркий, укатился в небо, обернувшись там предзакатным солнцем.

Мир закончился, и мне, наконец, стало хорошо.

\* \* \*

Вообще, я коллекционировал этих аистов. Они были разными — в зависимости от сорта или, точнее, подсорта апельсина, который каждый из них держал в своём длинном клюве, похожем на пинцет. А может, сами апельсины были одинаковыми, просто эскизы картинок рисовали разные художники. Каждый из них по-своему видел этого аиста, этот апельсин и яркий нездешний пейзаж вокруг, каждый привносил в рисунок что-то своё, потому что выражение глаз, форма клюва и головы у этих аистов были разными, да и апельсины тоже — непохожих размеров и оттенков. И была там пальма, и было там море, а главное, было там ощущение свежести и свободы, так несвойственной нашим холодным широтам, придавленным зимним небом и продуваемым всеми ветрами безысходности.

Апельсиновые ящики, сделанные из тонкой реечной фанеры, штабелями были составлены на задах овощных магазинов. Мы, мальчишки, играли среди этих лабиринтов в свои войнушки, пробовали курить подальше от взрослых, прятали какие свои пацанские штучки — ненадолго, конечно, потому что ящики увозили, примерно раз в неделю и площадка за магазином пустела. Но привозили новые апельсины, часто других сортов, и наклейки на ящиках менялись — появлялись всё новые, с иными пейзажами и узорами.

---

*Вис Виталис* — музыкант, поэт, режиссёр. Родился в 1975 году в Москве. Автор трилогии «Женщина. Где у неё кнопка» (гендерная психология), двадцати альбомов в разных стилях музыки, сценарист и режиссёр восьми короткометражных фильмов, победитель Первого Донецкого Международного Кинофестиваля с дебютным полным метром «Самый долгий день» (2025). Живёт в Москве. Первая публикация прозы атора.

Кто первым заметил это разнообразие, я не помню, но красочность этих картинок посреди грязно-серой московской зимы нас очаровала. Мы стали их отдиравать, отскабливать от ящиков и уносить домой: кто-то клеил в туалете на стены, кто-то вешал над кроватью особо полюбившиеся, а я — о, я подошёл к делу серьёзно, — я начал собирать коллекцию. Росла она быстро, я заразил этим странным увлечением всех дворовых, а там и школьных друзей, мы начали совершать рейды на «овощники» в своём районе, а потом и в соседних, научились снимать наклейки с ящиков так, чтобы без повреждений... Потом догадались отпаривать их дома, на паровой бане: для этого надо было разломать ящик и унести с собой торцевую часть, с наклейкой, а фанерную щепу остатков бросить на месте, в грязь и снег.

Грузчики и товароведы не оценили наши коллекционерские устремления и, поскольку тара была возвратной, за вандалами — нами — началась реальная охота. Впрочем, это только повысило увлекательность мероприятия и ценность добытых трофеев.

Через несколько месяцев поветрие охватило всю школу, а затем и соседние. Как ни странно, подключились девчонки. Самые отчаянные из них выходили в рейды наравне с пацанами, но большинство, конечно, избегали, а свои коллекции пополняли более безопасными способами: обмен, покупка, порой даже кража. Короче, настало обычное коллекционерское безумие, гонка за предметами, не имеющими никакой ценности для постороннего человека, но неизмеримо желанными для нас, вовлечённых в процесс.

А мне нравились аисты. В картинке с аистами, хотя она была одной из самых распространённых, было особое лаконичное совершенство. Причём совершенство это оставляло простор для интерпретаций, был в нём абсолютно необходимый и словно бы точно просчитанный изъян. Аист, протягивая тебе апельсин из своего прекрасного далёка, смотрел прямо в глаза. Этот апельсин и был ключом, его нужно было взять — прямо из аистиного клюва — и откусить, не очищая, вместе с бугрящейся коркой, чтобы по подбородку потёк сок... И тогда, наверное, ты смог бы понять что-то очень важное, а может — кто знает? — сам бы стал аистом и улетел туда, где море, свобода и эти самые апельсины.

Которые, впрочем, я никогда особенно не любил.

Ну и вот.

Я, как самый последовательный коллекционер, к тому же раньше прочих вошедший в тему, опередил всех. Моя коллекция была блестяща. В ней встречались такие наклейки, которых больше никто не видел. На них красовались сказочные минареты, белоснежные горные шпильки, узоры восточных дворцов. Весёлые мавры катались на огромных оранжевых фруктах, юркие обезьянки кидали друг другу озорные шары, изящные девушки, лукаво улыбаясь, протягивали светящиеся сферы, и в миндалевидных глазах этих девушек было что-то такое... Такое... В общем, нам, тринадцатилетним, не было до конца понятно, что именно *такое*, но дыхание перехватывало от изгиба запястий и глубины синего тумана, клубящегося над морем за плечами этих красавиц.

А фамилия у одной из таких девушек была Дрюкова.

Совсем ей не подходила эта корявая фамилия. Да и имя — Наташа — ей тоже, в общем, не шло, потому что её запястья были ещё изящнее, чем у далёких марокканок, она была стройна, смугла, и звать её, конечно, должны были как-то иначе. Лейла или Карима. Мариам Эйсими. Калеам Руайя. Саана Доаз. И связка браслетов на тонких руках, и ниспадающие на узкое лицо тёмные волосы...

Она мне снилась. Мы к этому времени уже третий год учились в одном классе, но в какой-то момент я её заметил, а до того — нет. Она сидела в соседнем ряду на две

парты впереди, и я видел округлость её плеча, уже появившийся намёк на грудь, бедро, обтянутое синим школьным платьем, и щеку, когда она поворачивалась к подруге справа. Я не мог дышать, я не мог думать, а подойти к ней и заговорить я не смог бы никогда.

И она тоже собирала наклейки с апельсиновых ящиков. Я знал, видел: на перемене девчонки собирались у окна в школьном коридоре, рассматривали новые рисунки и обсуждали уже известные. Я подарил бы ей всю свою коллекцию, без сожаления, просто так подарил бы, просто так. Не в обмен на поцелуй или дружбу, просто отдал бы: если бы она согласилась и взяла её, этого для меня было бы уже достаточно. Но я не мог подойти к ней, я бы умер, кровь к вискам прилиwała уже только от одной мысли об этом. Я был тут, а она — где-то там, в Марокко.

Марокко — это слово было написано на каждом ящике, и на самих апельсинах тоже были такие наклейки в виде ромбика; на чёрном фоне жёлтой вязью светилось это слово, и оно пахло апельсинами и сказкой.

В конце учебного года, когда занятия уже фактически закончились, а каникулы ещё не настали, нас отправили на подшефную овощебазу в пригороде разобрать картошку, убрать территорию — в общем, приобщиться к труду. Это были последние месяцы Советского Союза, и многие практики ещё работали, хотя уже было ясно, что грядут перемены. Никто не понимал, какие именно, но все ждали их с нетерпением, потому что всегда кажется, что перемены — это к лучшему.

Нас отправили на базу вместо уроков, всем классом, нас было человек тридцать, мы были молоды, глупы и потому счастливы. Погоды стояли тёплые, сопровождающих нам не выделяли — в те времена такое было возможно, да и ехать всего ничего: три станции на электричке. Мы быстро добрались до места, лихо расправились с объёмами выделенных работ и разбрелись кто куда. Девчонки расселись болтать и греться на солнце, а парни отправились изучать территорию. Где-то в этих ангарах могли найтись ящики с апельсинами, а значит, новые наклейки в коллекцию.

Так и вышло — в дальнем углу одного из холодных ангаров, пропахшем дурным духом гнилой картошки, мы обнаружили целые штабеля фанерных ящиков. Абордажная команда ринулась на приступ — и каждый вернулся с добычей.

Сам я старался разве что для обменного фонда. Все обнаруженные картинки уже были в моей коллекции, поэтому сняв пару «звёздочек» и одного «папуаса», я, уступив место коллегам, пошёл посмотреть, что творится в дальней части ангара. Сразу за штабелями молчаливым холодом темнело пустое пространство, гулкое железо ангара погромыхивало эхом голосов моих товарищей, а я углублялся в мир теней, откуда, казалось, не было выхода.

Ангар был огромен, необозрим, я чувствовал себя Иовом в брюхе кита. Голоса друзей становились всё тише и тише, отблески света — всё бледнее. И тут я увидел стоящий на отдельном поддоне штабель апельсиновых ящиков, словно бы подмигнувших мне нежной белизной тонких фанерных стенок.

Таких наклеек я раньше не встречал. Это было настоящее сокровище. По плоской поверхности рисунка шагали аляповатые, но бесконечно симпатичные негрятя, несущие на головах плетёные корзины, доверху наполненные апельсинами. Глазастый циркач, катившийся на одноколёсном велосипеде по оранжевому подиуму цирка, жонглировал апельсиновыми шарами. Изумительно стройно перекрещивались роскошные пальмы, за которыми угадывались горные склоны, полные тайны и неги.

И, прищурив лиловый глаз, лукаво смотрела на меня стройная марокканка, опять — опять! — похожая на Наташку. Алые губы её были, дразня, вытянуты, и с такой нежностью они касались апельсина, обхваченного тонкими пальцами, что у меня перехватило дыхание. Но самое главное — там бы аист. И такого аиста я раньше

не видел. Оставаясь похожим на несчётные вариации, что я встречал до того, этот был самым живым и самым непостижимым, словно это не он был напечатан на плохой офсетной бумаге, а я.

Воровато обернувшись, не видно ли меня из освещённой части ангара, я принялся за работу.

Аккуратно, одной рукой поддевая бумажный слой специально затупленным — чтоб не резал картинку, — перочинным ножиком, а свободной ладонью приглаживая уже отслоившуюся часть, я снял себе несколько наклеек, а те, что остались на ящиках, порвал и порезал. Повреждённые картинки не имели ценности, хотя некоторые коллаборационисты склеивали из обрывков целое изображение. Они пытались уверять, что разницы между целой и восстановленной картинкой нет, но разница-то была. И это все знали. Даже у меня в коллекции были такие, «склеиши», как мы их называли. И я терпел их только до того момента, пока не находил целый экземпляр.

Ничего нельзя склеить, вот в чём штука. Всё, что является целым, перестаёт быть в тот момент, когда теряет целостность. Дальше может начаться другая жизнь, но той, прежней, уже не будет.

Аистов я снял всех. Девушек — некоторых. Оставшимся я соскоблил лица. Пусть тот, кто найдёт штабель после меня, не увидит этого взгляда и красоты этих нежных губ, они должны оставаться только со мной.

Свернув наклейки трубочкой, изображением внутрь, чтобы никто не видел, я пустился в обратный путь. Парни уже закончили грабёж и ушли на улицу; шаги гулко отдавались в тишине, а у самого выхода я услышал её смех.

Наташка с подругой сидели неподалёку от ангара на ящиках из-под картофеля. Весеннее солнце золотило их щёки и апельсиновым светом просеивало их волосы, они смеялись, а напротив них сидел Санёк Кочегаров, мой лучший друг, и что-то басил. Я не слышал, что именно, но каждая его фраза вызывала у девчонок новые взрывы смеха.

Вот так. Он мог говорить с ней. Запросто мог говорить. Мог даже, наверное, взять за руку, шуточно толкнуть, задержаться ладонью на талии... а я — не мог, нет. Я благоговел; она была для меня совершенно недоступна, богиней она была, мне оставалось лишь молча преклоняться, мне оставалось только смотреть на неё из-за ящиков с апельсинами, смотреть с тоскою и восхищением. Мы были совсем молоды, женщины представлялись нам эфемерными загадочными созданиями, воздушными феями, парящими среди сказочных облаков, иногда прорывающихся короткими дождями поллюций. Мы ничего знали и не умели, ветра жизни не истрепали ещё наши тонкие крылышки; прораставшие сквозь нас древа познаний едва-едва начали выбрасывать нежные почки — до плодов ещё было далеко.

Я стоял в темноте, глядя на них через щель, оставленную железными дверями ангара. Кочегаров плёл что-то забавное, Наташка смеялась, отмахиваясь, а в моём сердце горело жаркое и жестокое пламя, заставляя сжиматься в судорогах всё моё естество, и по лицу у меня текли слёзы.

Когда нарядчик, напоминавший вставшего на хвост сома, принял работу и проводил нас до ворот овощебазы, день был в разгаре. До станции мы дошли быстро: мальчишки оторвались далеко вперёд, девочки, как водится, плелись позади.

— О чём ты там с Дрюковой болтал, — стараясь выглядеть небрежным, спросил я у Кочегара, — ржала, как лошадь.

— Да я помню, что ли? — рассеянно ответил Санёк, ловко срубив палкой головки сразу трём одуванчикам, которые появились среди скудного зеленотравья совсем недавно, зато повсеместно. — Да она всё время ржёт, что ей ни скажи. Настроение, наверно, хорошее.

На станции мы узнали, что попали как раз в перерыв и следующая электричка пойдёт в город только через два с половиной часа.

Все расселись кто где: на ступеньках, на краю платформы, на ободранной лавочке, кто-то закурил, кто-то достал карты.

Я подошёл в Наташке, болтавшей с подругой, набрал полную грудь воздуха и нырнул в холодную толщу тёмных вод.

— А пошли пешком до города, — предложил я, старательно улыбаясь. — Два часа поезда не будет... Мы дойдём быстрее.

— Пешком? — удивлённо переспросила она. — Зачем?

— Дойдём... Быстрее, — вымученно улыбнулся я. — Прогуляемся... Вот.

— Да зачем это? — засмеялась Наташка. — Здесь-то чем плохо? А где друг твой? Эй, Кочегаров! Иди сюда.

И он подошёл.

А я вынырнул. И спрыгнул с платформы вниз.

Со мной она не захотела идти, а его позвала к себе.

Что-то сломалось, и я, задыхаясь, пошёл по шпалам в сторону города.

Слева тянулся лес, справа нескончаемая свалка, шпалы выпрыгивали из-под ног, заставляя каждый новый шаг делать иначе, а надо всем этим нависло предчувствие синего вечера и неизбежного краха, и лето было уже на пороге.

За всё нужно платить. Даже если ты ничего не взял, тебя заставят заплатить всё равно. Поэтому нужно брать — безоглядно и ни о чём не думая, но этого я тогда не знал, да и узнал ли позже — непонятно.

Я всего лишь хотел любви. Или я хотел не меньше, чем просто любви. Или я хотел не более, чем любви. Но это уже стало неважно. Меня предали все: мой друг, не зная о том, моя любимая, не знавшая об этом, и, в общем-то, мой аист, который так и остался белым в тот момент, когда всё кругом почернело. И всё это потом будет повторяться бесконечно, снова и снова, в разных вариациях: все будут оставаться на платформе в ожидании неизбежного поезда, я буду уходить по неудобным шпалам прочь, и аист будет насмешливо смотреть на меня с неба, безжалостно сжимая в длинном клюве оранжевый апельсин солнца.

Справа тянулась бесконечная свалка, слева синел густой бор. Я шёл по нагретым солнцем шпалам и думал, что бог, если он есть, должен быть похож на аиста, держащего в клюве апельсин. Он может появляться в разных образах, но на самом деле он такой: белый-белый, белоснежный, как аист, парящий над морем в обрамлении кучевых облаков, а что это за апельсин и почему он хочет, чтобы ты взял его из остроконечного клюва, ты узнаешь, только когда возьмёшь.

Деревенские обогнали меня, незаметно пробежав вперёд с другой стороны железнодорожной насыпи. Когда я проходил через протянутый над водопропускной трубой ржавый мостик, прыщавый верзила выскочил на его перильца и: «Эй, ты, гля», — окликнул меня. Я, задумавшись, не сразу услышал окрик, верзиле пришлось повторить и, как только я поднял голову, он, не дав опомниться, ударил меня в висок ногой, обутой в тяжёлый кирзовый сапог. Ударил носком, со всего размаху, будто надеялся, что голова моя сорвётся с плеч и улетит ввысь, на другую сторону поля, как весёлый футбольный мяч.

Я захлебнулся сладким вечерним воздухом и рухнул на землю, тёплую, словно не успевшую ещё остыть после сотворения. Белый мой аист выскользнул из рук, спланировав под железнодорожную насыпь, а мой апельсин, отразивший всё тепло предзакатного солнца, покатился в закат.

И, если честно, я не знаю, что было дальше. Может, я и сейчас лежу там, под насыпью, в окружении разлетевшихся по траве ярких наклеек. А может, до сих пор иду вдоль железной дороги, и тянется справа от меня нескончаемая свалка, а слева — темнеющий морской синевой бор. И сквозь перистые облака предзакатным солнцем улыбается яркий дурашливый апельсин, а навстречу мне летит белый, белый, белый аист.

*Алексей Алёхин*

## Невыдуманное

### *Признание*

Всё написанное про меня в Интернете и других местах — враньё. Пора признаться.

Я и правда родился у Никитских ворот, только не в особняке придуманных дореволюционных предков. У отца была сапожная будка возле «Консервов», ещё от деда. Мы там и жили в полуподвале во дворе.

В школе я учился скверно, и меня отправили в ремеслуху — так тогда звались ПТУ — по специальности паяльщик-лудильщик. У меня неплохо получалось, но что-то не пошло. После я кончил курсы санитаров, вот только выяснилось, что таскать пьяных мужиков с разбитыми мордами мне не по силам.

А повсюду гремели стихи, точно все с ума посходили: Евтушенко, Вознесенский, Рождественский. У чугунного Маяковского, в Политехе, в Лужниках, да где угодно. И за них здорово платили. Я принялся таскать по редакциям свои творения и жил припеваючи. Стишки мне школьный товарищ сочинял, сын театральной костюмерши, по бутылке за штуку. Я взял себе псевдоним... впрочем, не стану говорить: после я продал его одному областному журналисту. Имя и сейчас на слуху, стихи по радио читают.

Ну а потом перестройка, журналы принялись наперегонки печатать всяких бродских с ходасевичами, не протолкнуться. И я уехал на два года в Китай, на сортировку шмоток для челноков. А вернулся уже в другую страну.

Победствовал, присмотрелся и затеял поэтический журнал — поэтов тогда повылазило, как грибов после дождя. Они мне за то, что тискал их подборки, построчно платили, да и журналчик как горячие пирожки расходился, я даже себе маленький замок купил в Нормандии. Так и шло, покуда чёртов Интернет не подкосил бизнес. Они там теперь сами себя бесплатно печатают, и сами себя читают. Хорошо хоть замок кое-какой доход даёт, я его одному беглому депутату сдал, ещё в двухтысячных.

---

*Алёхин Алексей Давидович* — поэт, эссеист, критик. Родился в Москве в 1949 году. Автор многих книг стихов и прозы. Создатель и главный редактор ежеквартального журнала поэзии «Арион», выходящего с 1994 по 2019 год. Живёт в Москве. Постоянный автор «ДН».

А дружок мой школьный и посейчас жив, лет пятнадцать уже лежит в Одинцово парализованный. Я ему лекарства оплачиваю и сиделку. Она, что он там ей губами нашевелит, внимательно слушает и на бумагу переводит. И мне отдаёт, а я под своим именем пускаю.

Вот и эти мои откровения, это он нашептал. Дай Бог ему здоровья и долголетия.

### *Цифровые фотографии*

Будь я, упаси Господь, прозаиком, мог бы тут по рассказу в день писать, все полторы недели на сочинском курорте. В глаза так и лезут сюжеты драм, комедий и оперных либретт.

Вот за завтраком муж, жена и странноватая, немного заброшенная дочка. Мать на неё не глядит, а гуляет глазами по другим постояльцам в зале. Отец то и дело говорит по мобильнику. Круглоголовый, простоватого вида, скорее всего, строитель, судя по красным большим рукам. Или владелец маленькой автомастерской. А жена его, с тонким лицом и тщательной гладкой причёской, не без вкуса одета в кружевную курточку. И руки в недорогих, но красивых колечках. Сразу знаешь, что она его быстренько женила на себе в ихнем маленьком городке, где женихов раз-два и обчёлся. Наладила дом. А он почти не пьёт и неплохо по тамошним меркам зарабатывает. Но есть и поуспешнее, и поярче. Вот подружка за такого вышла, живёт в областном городе. И заехав домой к родителям, немножко шеголяет. В общем...

А на пляже прямо передо мной, спиной к морю, сидит по-турецки на сдвинутых лежаках прехорошенькая девушка в соломенной шляпке вроде канотье, в тени которой блестят глаза и поминутно смеются губы. Она играет в карты со спутником лет сорока и всякий раз, выиграв, счастливо хохочет и пускает дым из тоненькой сигаретки. А тот лежит добродушно на спине, чуть залысевшей башкой ко мне. Иногда он закидывает за шею округлые руки в чёрных волосках. На пальце правой толстое обручальное кольцо. А у неё на загорелых тонких руках ни колечка. Дальше рассказывать?

Или тот неприкаянный, с лицом молодого Ива Монтана, что с утра до ночи пьёт, таская за собой жену, шатается от бара к бару. Вечером третьего дня прямо у стойки какой-то толстяк дал ему слегка по морде — «за то, что так со своей женой говорит, она же женщина!», кричал он разнимавшим. В то время как рыжеволосую жену под руки вводили две подруги. Ноги её плохо слушались.

Вчера вечером он пытался дирижировать оркестриком, что играет в ресторанчике на эстраде.

А сегодня после ужина я видел их с женой за столиком в темноте отцветших гортензий. Они пили кофе, курили и тихо разговаривали.

Ох уж эти русские истории, вечно без концовки.

### *Грустная история (рассказ)*

Жил-был один человек. А потом взял и помер.

### *Джордано Бруно*

У меня не какой-нибудь «умный дом», обычная квартира. И тем не менее. Ночью пробирался в темноте без очков на кухню попить воды и ахнул, какая россыпь вокруг горит индикаторов, лампочек. Зелёный глазок на холодильнике, красный под телевизором, помигивают жёлтым зарядники для телефонов и светится оранжевым облачком воткнутый в розетку фумигатор. А на обоях под потолком дрожит комар, прибалдевший от фумигатора и от гениальной догадки, что все эти разноцветные огонёчки суть на деле далёкие солнца и даже обитаемые миры...

### *Муза андеграунда*

Вообще-то он был изрядный балбес, как многие авангардисты по живописной части. С весёлым ветром в голове, пьющий. Брёл как-то на подпитии через главную площадь под Новый год и заметил, что бронзовый Ленин перед обкомом в снежной шапке и белом воротнике ну вылитый Дед Мороз. Тут-то его и осенила инсталляция.

Подговорил дружка, бутафора в облтеатре. Там у них куча дедморозовских шуб в каптёрке, артистам халтурить на новогодние. Выбрали попросторней, бутылку портвешка распили и отправились по темноте да по морозцу.

Обкомовский постовой, который там топчется, решил, что к празднику украшают, как раз накануне на площади ёлку поставили. Даже лестницу помогал держать.

А на протянутую ладонь вождя мешочек подарочный подвесили, революционно-красный.

Утром тамошний первый секретарь на службу ехал, из окна своей «Чайки» глянул и обомлел. Ворвался к себе в кабинет и такой тарарам устроил! Орал, матерился, графин с водой повалил. Позвали гэбэшников. Ну, мазилу нашего, понятно, враз нашли. А он им на допросе, мол, Ильич и есть наш Дед Мороз, счастье социализма подарил. Всем-всем-всем, не только детишкам. И такими чистыми глазами смотрел, что даже капитану, что дело вёл, ясно стало: не врёт он, вправду такой уделанный. Ну, его и отправили в дурку.

Про него даже в «Хронике текущих событий», был такой подпольный листок, написали тогда, мол, узник совести.

Подлечили его и после выпустили. А уже в 90-х он в Германию уехал. Ну, и дедморозов этих с лицом Ильича там клепал, они хорошо на аукционах шли, в музеи попали. Только пить не перестал и в середине двухтысячных помер.

Теперь его наследие искусствоведы изучают, четыре монографии вышло и пятая готовится. Гений соц-арта, говорят.

### *Смелый зайчик*

*(сказка для маленьких детей постарше)*

Смелый зайчик отправился вечером погулять по лесу, хотя бабушка не велела. Зашёл в самую глушь, а там так страшно! Ёлки чёрными своими лапами (это потому что уже темно) над головой машут. Кусты на старинных разбойников похожи в шляпах

с перьями. Сучья под ногами вроде толстых змей. И вдобавок в самой дремучести — волчье логово!

А там три волка: старый, средний и молодой. Оборванные, тощие, злые. И у молодого жёлтый глаз сверкает, через кусты видать.

Увидел храбрый зайчик этот волчиный глаз, зажмурился и от страха пукнул.

А молодой волк услышал, аж подскочил: «Охотники!» — кричит. И все три волка как брызнут по лесу в разные стороны!

Ну а храбрый зайка в свою сторону побежал. Домой. К бабушке.

Вот какой молодец.

### *Я вам завещаю свинг*

Мы забрели в этот клуб случайно, как в другую жизнь.

Джаз был чертовски молод, молод, молод.

Маленькая певица в серебряном платье мне казалась девочкой, и было чудно, что она изображает повадки женщины, пожимает голым плечом и покачивает свои маленькие обводы.

А музыканты выглядели как её одноклассники.

Похожая на пионерский горн труба порхала.

Сложенный втрое звук весело ухал в саксофоне.

Ворчал под пальцами троечника контрабас.

И тема рассыпалась вдребезги под ладонями очкарика на барабанах.

Все кругом в моих глазах едва дотягивали до детей и смахивали на внучек с внуками.

Ну да, тут пригоршнями ловило музыку, резвилось, танцевало, перекликалось с высоких табуретов следующее поколение людей.

А мы были прошлым и позапрошлым. Зато могли любоваться будущим.

Посидев часик, мы ушли, унося в ушах обрывки свинга.

А там, наверху, продолжалась музыка. И брызгами разлетались клавиши под растопыренными пальцами пигалицы за фортепьяно. И молоденькие официантки пританцовывали, разнося свои подносы. Всё крутилось.

И будет кружиться после нас.

Владимир Александров

## Дети доломедеса

«Кокон» и его обитатели\*

Замечательный волгоградский поэт и художник Лев Вахрамеев, который по совместительству был ещё и выпускником математической аспирантуры Высшего Бауманского училища, любил ставить перед собой трудные, почти неразрешимые задачи. Одна из них формулировалась так: сколько времени понадобится неглупому, увлечённому, трудолюбивому и настойчивому, но лишённому дарования человеку, чтобы начать писать стихи не хуже Пушкина? Лев работал над задачей несколько лет, выводил сложные формулы и, наконец, нашёл решение. При условии регулярных ежедневных двухчасовых занятий поэзией искомого результата можно добиться всего лишь за 5 тысяч лет.

Кстати, тут содержится и ответ тем, кто опасается, что искусственный интеллект вскоре вытеснит настоящих поэтов. При существующих алгоритмах обучения ИИ для выполнения поставленной задачи понадобится ничуть не меньше времени. Научить быть поэтом невозможно.

Лев Вахрамеев появился в волгоградском культурном поле в конце 70-х годов прошлого века, став одной из знаковых фигур грядущих перемен. Это было странное время. В студенческом театре пединститута ставили абсурдистские пьесы, и на волгоградскую сцену вышли персонажи Сэмюэля Беккета, Эжена Ионеско и Эдварда Олби. Молодёжный народный театр Дома профсоюзов под руководством сначала Калерии Фокиной, потом Бориса Естрина как-то незаметно превзошёл по популярности все профессиональные театры города. На его спектакли невозможно было попасть.

Тогда же в городе появились три молодых поэта из Политехнического института. Они пришли свободно и ярко, никого не свергая, ни с кем не борясь за место под солнцем, просто в один прекрасный день весь читающий Волгоград заговорил о них. Вахрамеев, Надеев, Пчелинцев. Их имена звучали как заклинание, как пропуск в закрытый клуб.

Откуда они взялись? Из ниоткуда, *out of the blue*, как и положено поэтам.

---

Александров Владимир Юрьевич — поэт, переводчик, драматург, кандидат филологических наук. Окончил докторантуру МПГУ по специальности «русская литература». Шеф-редактор просветительских программ телеканала «Россия-Культура». Печатался в журналах «Знамя», «Вопросы литературы», «Новый мир». Живёт в Мытищах.

\* Текст публикуется с исправлениями и дополнениями по журналу «Двуречье» (Волгоград), выпуск 1/2025.

**Александр Пчелинцев:**

*Что же касается моей встречи с Надеевым, то она произошла в редакции газеты «Политехник», в небольшой комнате на четвёртом этаже Волгоградского политехнического института, где за обычным канцелярским столом сидела необыкновенная женщина — Марина Знамеровская. Она была крупна, породиста, с красивыми чувственными губами, небольшим носиком и необыкновенными глазами волоокой Геры. Она носила большие стильные очки, скорее для придания своему образу большей официальности, ибо была редактором упомянутой газеты. Когда я, будучи студентом второго курса автотракторного факультета, принёс, робея, свои школьные стихи, Марина пробежала их глазами и деловито сказала: «Вас надо познакомить с Серёжей Надеевым. Он у нас тут главный поэт». И вскоре состоялась первая встреча.*

Разумеется, их не печатали (за исключением институтской многотиражки, в то время издание книг было серьёзным плановым мероприятием, контролируемым Союзом писателей и другими официальными органами), публичных выступлений практически не было. Тем не менее в студенческой и молодёжной среде о них знали практически все, а личное знакомство с ними расценивалось почти как пропуск в бессмертие.

Вопреки расхожему мнению, официальное волгоградское отделение Союза писателей СССР отнеслось к молодым поэтам благосклонно. То есть в Союз их не пригласили и не приняли, зато, согласно Грибоедову, решили «сослать» «на поселенье, в глушь, в Саратов».

Классик, конечно, Саратову подсуропил. С его лёгкой руки обитатель любого самого несусветного захолустья мог взирать на областной поволжский город свысока. Как же, как же — глушь, сам Грибоедов сказал.

Нашим поэтам ещё предстояло Саратов открыть. Собственно, с этого и начинается история «Кокона».

**Сергей Надеев:**

*Апрель 1981. Евгений Кулькин, не помню, какой пост в Союзе писателей Волгограда он занимал, рекомендовал нас, непризнанных гениев из «оппозиции» официальной писательской тусовке, принять участие в региональном совещании молодых писателей. Мы, циники и пересмешиники, высокомерно так: «А кто там будет? «Взрезало посвистом»? «С авоськой марокканских апельсинов/ Слежу надой родного молока»? Или, может, «Старый чёлн просмолённый снуёт поплавок»? — Да нет, вот есть парочка ребят...*

*Мы и охолонули. Евгений Александрович был не самым бесспорным писателем, но чувствовал поэзию он безупречно.*

*Мы выведали у Кулькина саратовский адрес Кековой и в канун приезда послали телеграмму: «Восторжены, ищем золотую страну». Телеграфистка (странно, что вообще взяла такой текст) переврала слова — видно, телеграммы тогда передавались по телефону, с голоса. В результате получилась какая-то невнятная, «воровская» телеграмма, да ещё доставили её поздним вечером, да ещё и свет в доме был отключён, доставщик стучал в дверь, вручал при свете фонарика...*

*Наутро — торжественное открытие мероприятия, суета, официоз, смазные сапоги, — так и не познакомились. Нас раскидали по разным семинарам, но мы с Колей попали в один — к незабвенному Исаю Тобольскому, рождённому в 1921 году в семье саратовского извозчика. Исай Григорьевич взялся за молодого, красивого, высокого интеллигентного студента Саратовского университета Николая Кононова. Не иначе*

как взыграло неистребимое классовое чутьё. Он цеплялся к каждой строке и апеллировал к застенчивому сильно возрастному трактористу Василию Малохаткину: «Скажи, Василий, тебе понятно?» — «Нет, не понимаю...» — «Воот! Это голос народа».

А когда Коля подставился и прочёл что-то вроде «Я скачу на картонной лошадке, размахивая бумажной сабелькой», — мэтр взвился: «Как! Как ты можешь писать такие стишки! Да советский человек...» Тут уж закусил Коля: «По какому праву вы мне “тыкаете”? Вы при всех обвинили меня в антисоветчине, и я требую, чтобы вы извинились, либо прямо сейчас пишете заявление в КГБ, и мы идём в Большой Дом!»

Семинаристы не дышали. Это неслыханно — всуе поминать Большой Дом. Такой скандал! Бежать отсюда, заткнув уши и закрыв глаза! Чур, чур!

Сейчас достоверно не вспомнить, что читали на семинаре наши герои. Вероятно, Кононов обнародовал тогда и свои ныне утраченные «Ботинки», от которых в памяти сохранилась только одна строфа:

Ботинки на шнурках, как гласные, глубоки,  
Как голуби в лесах, ботинки высоки.  
Давили чернозём, его вино и соки.  
И проступали охрой в омуте строки.

В Саратове случилось главное — поэты встретились. С их встречи началась дружба, с дружбы — история литературы.

#### **Александр Пчелинцев:**

Ах, давайте ж окунёмся в это время,  
Где кислит вишнёвое варенье,  
Где как лёгкий вздох стихотворенье,  
Где анапест летний во дворе.  
Рдеет плод от первого смущенья.  
И слова невинны и священны.  
Гаснет день, меняет освещенье  
И на утро сад весь в серебре.

Где ещё не замкнуто пространство,  
Где не осуждают постоянство,  
Но измена мучает как пьянство —  
То туда мотает, то сюда.  
Кто куда — кто в Сызрань, кто в Израиль.  
Нет пока ни совести, ни правил —  
Встретил, полюбил, устал, оставил,  
В шуме растворился навсегда.

В Волгограде ветрено и жарко.  
Волга, волны, чайки и байдарка.  
Только ждёшь от ангела подарка —  
И встаёт вдали мечтой Москва.  
Позвони мне. На исходе лето.  
Ты берёшь плацкартные билеты,  
В тамбуре смакуешь сигареты —  
И пуста от счастья голова.

Вот она, хваленая столица.  
Здесь мелькают сутки, деньги, лица.  
Ты бежишь — нельзя остановиться —  
Лестницы, подъезды, этажи.  
Здесь в граните пафос высекают,  
Здесь курантов бой не затихает,  
Звёзды, купола, кресты сверкают,  
Как в пустыне древней миражи.

Нет, Москва — проспекты и бульвары,  
Парки, сцены, торжища, товары,  
Летние кафе, буфеты, бары,  
Рестораны, студии, престиж.  
Правда, я с поэтами однажды,  
Изнывая от любви и жажды,  
Посетил с недоумением дважды  
Выставку картин «Москва — Париж».

Ах, в Москве неплохо бы жениться!  
Чтобы было где остановиться,  
А потом уже остепениться,  
Развести гостей, гусей, детей.  
Быть любимцем хлебосольной тёщи —  
А чего на самом деле проще —  
Просто похвали бессменный борщик,  
Да одобри сводки новостей.

Не судьба. И снова в Волгограде.  
Помолчи немного, бога ради.  
Запиши скорей строфу в тетради.  
Сердце причитаньем не томи.  
Но судьба уже предполагала,  
Что героев ждёт своя Валгалла —  
Мы стоим с повесткой у вокзала,  
Мы в Саратов едем, топати.

Ах Саратов, сборище поэтов,  
Будущих страны авторитетов,  
Авторов навязчивых куплетов  
О великих стройках, о вождях.  
Всё читали вслух. Какая жалость.  
Всё в неразличимый гул смешалось.  
За окном в цветах сирень качалась  
И мечтала только о дождях.

Но скажи, Надеев, мы-то знали,  
Что не век сидеть нам в этом зале.  
Нас ждало иное биеннале,  
Нам другой готовился финал.  
Вот вошёл большой поэт с улыбкой,  
На плече с задумчивой улиткой,  
С томом Пруста, с шоколадной плиткой,  
И унынье сонное прогнал.

Он воскликнул: Я узнал вас, братья!  
 Начались признания и обьятия,  
 Клятвы дружбы, а врагам проклятия.  
 Жду стихов, скорее присылай!  
 Он гудел ворвавшимся потоком,  
 Он кипел, он бил небесным током,  
 Он вращал богоподобным оком —  
 Это был блаженный Николай.

Сдвинулись границы ойкумены.  
 На портретах проступили вены.  
 Ждали нас крутые перемены.  
 Новый смысл впитали имена.  
 Нас несло по руслу мироздания,  
 Нас влекли пророчества и тайны,  
 Нас вели разлуки и свиданья.  
 Рушились, как башни, времена.

**Светлана Кекова:**

Я вышла замуж за Бориса Борухова (сейчас он живёт в Израиле). Это была моя первая аудитория. Борис очень любил поэзию, чувствовал её как-то особенно остро. И я стала много, интенсивно писать, потому что появилась «питательная среда» — долгие разговоры о поэзии, об искусстве вообще. В 1979 году мы познакомились с Николаем Кононовым, и это знакомство переросло в поэтическую дружбу. Я бы даже сказала, что образовалась некая группа поэтов со своей «Декларацией». Мы назывались шутливо «Кокон» — по начальным буквам фамилий. А история возникновения этой группы такова: Коля — я об этом даже не знала, лежала тогда в больнице, — послал свои и мои стихи в Волгоград на семинар молодых поэтов. И неожиданно мы оказались включёнными в программу семинара, который вёл волгоградский поэт Кулькин. Вокруг него существовало целое общество интересных молодых поэтов; с некоторыми из них мы познакомились. Сергей Надеев и Александр Пчелинцев оказались нам очень близки и по поэтике, и по духу. Наш «Кокон» стал объёмнее.

**Сергей Надеев:**

Всё спрессовалось в тот год: в апреле мы познакомились, в мае я приезжал в командировку в Саратов, летом Боря служил в летних лагерях, Коля, кажется, тоже, Света то в Тамбове, то в Астрахани, и мы переписывались — по письму в день — часто вовсе без слов, только стихи. Пухлые конверты с лиловым овальным штампом «доплатное». В сентябре с Львом Вахрамеевым и Пчелинцевым мы ездили в Москву, на поклон к Арсению Тарковскому, возвращались через Саратов. В мой приезд на ноябрьские праздники пришёл номер «Литературной Грузии» со стихами Светы и Коли. На Новый год в Саратов я привёз ёлку из Волгограда — всю ночь стоял в общем вагоне, — трёхлитровую банку домашнего вина и самодельную бороду Деда Мороза.

Светлана Кекова и Борис Борухов опубликовали свои воспоминания, и из них я узнал... Вернее, не так. Сначала я с удивлением прочёл об официальном упоминании нашего «Кокона» в томе Вячеслава Огрызко «Русские писатели. Современная эпоха. Лексикон» (2004, Москва) — саратовская литературная мегагруппа «Кокон» (Н. Кононов, С. Кекова, Б. Борухов, С. Надеев, А. Пчелинцев). Света и Боря опубликовали свои воспоминания задолго до «Лексикона» («Волга», 1991, № 9, «Провинция... А культура?»):

«**Б.Б.**: Коля выяснил, что в Саратове собираются проводить совещание молодых авторов Поволжья... **С.К.**: ...И Коля каким-то образом передал туда свои и мои стихи на рецензию, их переправили на рецензию в Волгоград, оттуда тоже должен был кто-то приехать. **Б.Б.**: Как-то вечером — помнится, у нас не было света — приносят телеграмму. При свете спичек мы разобрали текст: “Восторжены стихами ищем золотую страну Надеев Пчелинцев”. **С.К.**: Это была строчка из моего стихотворения: “Люди тоже идут по земле/ В золотую страну изобилья”. **Б.Б.**: Это было большое событие в нашей жизни, потому что оно разрушало ощущение мёртвого пространства вокруг нас. Воспринято это было как праздник: кто-то прочёл, кем-то оценено...»

После феерического знакомства мы словно заболели, вдохновенно бредили поэтическим братством, перепевали его на все лады:

### К Б.Л. Борухову. Послание

О, если б до небес сухих  
дошли тревожные моления, —  
просил бы я соединенья  
с душой твоей стихов моих.

Мы с Сашей написали Послание Кононову. Строчку — он, строчку — я. Вот и пролог наших «Редких писем».

#### **Николай Кононов:**

Мне на всю жизнь запомнилась быстрая весна, она в Саратове начинается стремительно, когда появились Серёжа Надеев и Саша Пчелинцев в нашем задрипанном районе Кирпичного завода. Времена были беспросветные во многих смыслах. Но к делу. Как-то случайно в нашей компании, а мы все сдружились моментально, как случается с поэтами, возникло слово КОКОН, связанное не только с фамилиями Светы и моим псевдонимом, но и широкой символикой — зарождения жизни, самостийной охраны драгоценного плода, непроницаемости для всякой политической похабины той поры. Да и прекрасные бабочки из кокона появляются. Их имена, кстати, часто встречались в стихах Светы, как следы психейных смыслов, как указания на черты прекрасного мира. И эта метафизика, частотность этого странного словаря, как представлялось нам, — стала неким фундаментом, символом поэтического философствования в нашей компании. Мы были все настроены не диссидентски, но абсолютно цинично к проявлениям того времени — и политическим, и эстетическим. По мере сил мы не марались, уклонялись и искали союзников в литературной среде, не очень успешно, кстати. Они появились позднее. Но главное переживание нашей прекрасной компании было, пожалуй, чувство полноты и исполненности.

#### **Сергей Надеев:**

### Друзьям

Мир расколот на зоны, на два оловянных пространства.  
Их бы сдвинуть, спаять! — Но не хватит ни сил, ни труда.  
И катаемся, шарики ртути,  
стяжатели странствий,  
сокрушаем границы и рвёмся —  
туда,



**Николай Кононов:**

КОКОН был в каком-то смысле аудиторией и самим университетом с небольшим числом адептов, но трое и четверо — это уже не один-одинёшенек. Погружение в культуру формировало некий общий вкус, а точнее слух, так необходимый поэту. И замкнутость и самостояние в конце концов дало силы для расширения. Думаю, что пару лет точно можно назвать порою КОКОНА. И мы были столь самодостаточны и увлечены друг другом, что силы на социальную реабилитацию уже не тратили. Да и противно тогда это было. Мы никогда не выступали по очевидным причинам — не было никаких возможностей в среде, цензурируемой насквозь, да и своим чудесным волокном было жаль делиться. Самим было надо. И как мы оказались правы!!!

Александр Пчелинцев предложил назвать эту публикацию «Кокон. Аргонавты Поволжья», Николави Кононов — «Дети доломедеса». Всё так и было, потому что молодые поэты ощущали свою миссию в поиске золотого руна настоящей поэзии.

С тех пор минуло более четырёх десятилетий, что само по себе делает существование «Кокон» фактом истории литературы. Но главное то, как сложились судьбы участников группы.

Борис Борухов, несмотря на отсутствие специального образования, стал профессиональным литературоведом, кандидатом филологических наук. Сегодня он заведует отделом поэзии в Иерусалимском журнале «Тайные тропы». Без его деятельного участия не состоялась бы первая публикация стихов Кековой и Коконова в журнале «Литературная Грузия», и само существование группы было бы под большим вопросом.

Светлану Кекову смело можно отнести к классикам современной российской поэзии. Она — большой, яркий, оригинальный, православный поэт, признанный литературным сообществом.

Николай Кононов — поэт, прозаик, автор нашумевших романов «Похороны кузнечика» (за него он был удостоен премии Аполлона Григорьева; лауреат премии Андрея Белого), «Нежный театр», «Фланёр».

Сергей Надеев — человек, сумевший осуществить самые невероятные планы. Полюбив в юности Мандельштама, он стал личным секретарём Эммы Григорьевны Герштейн, последнего человека в России, который был действительно близок к чете Мандельштамов. Ныне Сергей главный редактор журнала «Дружба народов». Надеев состоялся как поэт и как заметный участник литературного процесса.

Пожалуй, в Интернете нельзя прочесть лишь об Александре Пчелинцеве, что нисколько его не умаляет. Для поэта чрезвычайно важно представление о собственном пути, о верности ему. Александр Пчелинцев выбрал для себя быть просто Александром Пчелинцевым, прямо по Пастернаку «И быть собой, собой и только,/ Собой и только до конца». Одному времени дано право окончательного суда над поэтом. Путь Пчелинцева не хуже и не лучше путей его друзей, это его путь.

А если литературная группа дала нашей литературе сразу несколько значительных имён, она заслуживает внимания и литературоведов, и самого широкого круга читателей.

Пусть поэты говорят сами за себя. В настоящую подборку включены стихи, написанные тогда, в начале 1980-х, во время существования группы «Кокон». Целый ряд стихотворений публикуются впервые, если не считать самоотверженных собственноручных изданий, осуществленных Сергеем Надеевым. Тогда он выпустил несколько машинописных книг Кековой, Коконова, Пчелинцева, несколько коллективных «Изборников». Но о них проще сказать словами Венедикта Ерофеева: «Первое издание <...>, благо было в одном экземпляре, быстро разошлось».

*Светлана Кекова*

\* \* \*

Кому дано мечтать о влажной глине,  
о ежевике, о лесной малине,  
о вислоухих мощных лопухах,  
когда лучи, затылок лета грея,  
запутаются в зарослях кипрея,  
в его соцветьях, как в моих стихах?

Какая влага и какая пища  
так нежно окружает корневища  
цветов и трав, заполонивших сад?  
По влажным стеблям проползают слизни,  
неторопливо думая о жизни,  
июльских дней вдыхая аромат.

Кто восседает на плетёном стуле,  
как бы на троне, в месяце июле,  
на небо смотрит и не дует в ус?  
Он видит, как природа ароматна,  
срывает с веток солнечные пятна  
и пробует черёмуху на вкус.

А я пишу: «В тенистых дебрях сада  
черёмуха крупнее винограда  
и липки жала сладкоежек-ос,  
прозрачна мякоть белого налива  
и тяжелеет голубая слива,  
и копит сок румяный абрикос».

Я говорю: «Возвышенна, как ода,  
работа муравьиного народа,  
прекрасна влага, благодатен зной,  
и славен труд сухих жуков навозных,  
когда природа в планах грандиозных  
растит плоды и копит перегной».

Но кончен день, и речь моя стихает,  
когда вокруг укроп благоухает  
и воздух сада кажется строкой,  
и кто-то в лёгкой ситцевой одежде  
уже не ждёт меня в саду, как прежде,  
а в двух словах уходит на покой.

\* \* \*

Камышовые избы стоят у прохладных излук...  
Как прожить на земле и не выронить жизни из рук?

Камыши шелестят, поднимается кровь от корней...  
Как прожить эту жизнь и не молвить ни слова о ней?

У оград камышовых растут конопля и полынь —  
ты их стебли потрогай и сердце горячее вынь,

чтоб пространство судить,  
чтобы время вокруг понимать,  
чтобы яблоки слов до последнего дня обнимать...

### *Поэту*

Вот слово — монолитней, чем утёс,  
омытый кровью, влагой, кислородом,  
стоит и ждёт, что ты — каменотёс —  
накопишь силы наравне с народом

и сможешь ранить каменную плоть,  
проникнуть в жилы, в мраморную мякоть,  
и звуки благородные колоть,  
и, зубы сжав, работать, а не плакать.

Закат суров, суглинок сух и тощ,  
как вены камня, проступают строки,  
ты из гранита высекаешь мощь —  
простолюдин, подавшийся в пророки.

И голос правды в камне и воде  
течёт потоком крови в бесконечность...  
Ремесленник, не думай о беде —  
твою работы принимает вечность.

\* \* \*

*Сергею Надееву*

День квадратен. В его запылённую раму  
втиснут лес и могучий орнамент реки.  
Там играют одну бесконечную гамму,  
там тоскуют, там пряжу сучат пауки.

Есть такая печаль в среднерусском пейзаже  
и такая в стрекозах глубокая грусть,  
что её понимает ребёнок, и даже  
строки воздуха пробует петь наизусть

Осыпаются лета сосновые иглы  
на сухие поляны, на рыжие мхи...  
Ты придумашь, мальчик, словесные игры  
и брусничные строки уложишь в стихи.

Горсть сухих желудей, или горсть земляники,  
или гриб боровик ты протянешь туда,  
где пугливы деревьев высокие лики  
в сложном пафосе листьев, любви и труда.

\* \* \*

Вершится не драма, а просто пора листопада.  
Становится дробным пустое пространство в лесу.  
Предчувствуя гибель, ликует растительность сада:  
устали деревья лелеять и нянчить листву.

Деревья и люди внезапно утратили цельность.  
Как чёрные листья, на юг улетели грачи.  
И мечутся люди, свою ощущая отдельность,  
и пламя, возникнув, отдельно живёт от свечи.

Приветствуй, о осень, утрату сомнительных связей,  
свой собственный прах отряхая с корявых колен!  
В эпоху распада твой вывод прозрачен и ясен:  
лишь слово бессмертно, всё прочее — пепел и тлен.

Ничем не оправданы замыслы леса и сада,  
и мне остаётся под сенью лысеющих лип  
выскательно слушать бесшумное эхо распада  
и в новых стихах не сбиваться на шёпот и всхлип.

\* \* \*

...И плывут в стекле оконном,  
отражаясь невпопад,  
стул, диван, часы со звоном,  
тень под облаком зелёным,  
чей-то дом, скамейка, сад.

Различаешь чьи-то лица,  
повороты чьих-то спин,  
проплывает плавно птица,  
а потом — берёз столица  
и провинция осин,

и плывущий без движений  
в мире этих отражений  
ты — без имени, один.

\* \* \*

Мы сегодня с тобою смогли бы  
трогать звенья разорванных уз...  
Зацветают сладчайшие липы,  
золотые на запах и вкус.

В нашем доме так пусто, так тихо,  
но среди истомлённых полей  
зацветает сухая гречиха  
под гудение пчёл и шмелей.

Не ищи для свиданий предлоги —  
нужно жить и разлуку беречь,  
чтоб рождались гортанные слоги,  
из которых рождается речь.

\* \* \*

Неясно очерчены контуры лета,  
но в зелени столько сиянья и света,  
но птицы возводят такие дворцы!  
«Малина поспела, поспела малина! —  
кричит нам соседская девочка Нина, —  
а сладкую вишню склевали скворцы!»

Но ягоды падают — Боже Всевышний! —  
сегодня мы власть наедаемся вишней,  
на завтра готовим с малиной пирог.  
Нас трое на даче, и третий — не лишний:  
он пишет стихи и гоняет сорок.

Мы нашему другу простим суеверья!  
Роняют сороки атласные перья,  
склюют землянику и хвост распушат...  
Темнеет. У лета на самой макушке  
сидят и кукуют четыре кукушки  
и баснями кормят своих кукушат.

«Пейзаж деревенский — залог вдохновенья!» —  
мы хором воскликнем, и в это мгновенье  
нас ветер июльский возьмёт в оборот.  
Он, словно подросток, по лестнице съехав,  
нам бросит в лукошко зелёных орехов,  
растянет в улыбке мальчишеский рот.

А вечер июльский на воле гуляет!  
Он душу тревожит и ум окрыляет,  
и ходят по полю большие грачи.  
И вновь прославляют достоинства лета  
четырнадцать строк молодого поэта,  
и мы их читаем при свете свечи.

\* \* \*

1

Весь в чешуйках труда, весь в поту, как в росе,  
вырастает тростник на Чулпанской косе.

2

На Чулпанской косе, на волне слюдяной  
созревает рогатый орех водяной.

3

Здесь, на взморье, мы жажду свою утолим,  
перетрём на муку почерневший чилим.

4

Будем трогать камыш, чтобы вывести — где  
нам ходить босиком по высокой воде...

\* \* \*

Ах, на рынке, на толкучке  
разделён народ на кучки —  
здесь торгуют, там — поют.  
Две мешанки молодые,  
некрасивые, худые,  
вещи даром отдают.

Что ж, и я на этом рынке  
отыщу себе ботинки  
на высоких каблуках,  
их примерю в одиночку —  
но куплю себе сорочку,  
суну сдачу за рукав.

Из-за этой скудной дачи  
будет выглядеть иначе  
жизнь, доставшаяся мне:  
в дебрях твиста и чарльстона,  
в лёгком платье из шифона  
ты одна теперь в цене.

Я мелодию забыла...  
Да со мной ли это было?  
Сколько мне сегодня лет?  
На торговые палаты  
слепо смотрят циферблаты,  
на которых стрелок нет.

## Николай Кононов

\* \* \*

Над кудрявым огнём поднимается дым.  
Вот и сумрак растаял, но следом за ним  
появилась завеса тумана.  
Это — бронза стволов в мутной окиси мха.  
Это — жизнь, что, наверно, была неплоха,  
как в пустыне небесная манна.  
Как узнать этот мир после смерти? Вода  
почерневшая, ржавая там не видна,  
но ручья чуть дрожащая вена  
из-под снега последнего тянется. Ты  
золотых облаков наблюдаешь гурты  
из телесного узкого плена.  
Пелена узнаванья растаяла. Так  
вместо воздуха вижу раскрывшийся мак.  
И его бесподобное тело  
в углу зренье моём завершается, но  
этот фильм безалаберный. Это кино  
промелькнуло так быстро, истлело.

\* \* \*

О воздух крылышки ломая  
и вроде бы теряя вес,  
стрекоз рассерженная стая  
прибрежный покидает лес.  
Они взвиваются, как нити,  
их невозможно удержать.  
Как нас пугает, сочинитель,  
твоя раскрытая тетрадь.  
Твой почерк — сверстник тяжелой влаги —  
порой так жирен, так гнетущ,  
нам не пройти твои овраги,  
не выбраться из этих кущ.  
Нам и исчезнуть не под силу  
меж двух твоих могучих строк.  
Какая нас рука впустила  
и дверь закрыла на крючок?  
Ну вот и плачешь в самом деле,  
и кажется, что этот лес  
недужный, влажный, пустотелый  
расплавился, почти исчез.

### *Тбилисские стансы*

Я был в краях, где угасанье трав  
поддерживает ложный архитрав,  
где в длиннотелом воздухе духана  
за пазухой вина парит пасхальный дух.  
Я буквы позабыл, когда пропел петух  
под небом Грузии. Я вышел из тумана.  
Мне узы жмут, и мне претят узлы;  
на улицах завалы из золы.  
Из золота утилитарной пробы  
отлиты ангелы и тонут в молоке.  
Я должен быть бы по полудни в Ваке,  
Где стынет в тополях дыханье Нинаобы.  
Тогда в движеньях лиц узнаю тайный знак.  
Тогда на круп горы наброшенный чепрак  
орешника займётся сам собою.  
Он медленно горит, он тлеет, он парит,  
он пьёт вино, он внятно говорит,  
лепечет он и плачет надо мною.

### *Путешествуя по Грузии*

Ты слышал жизни влажный крик.  
Гудел закат. Шумела Мтквари.  
Ты забывал людской язык,  
чтоб внять реченью каждой твари.  
Улитки свиток, шар жука  
вместил кипящее начало.  
Мелькала в воздухе рука  
и ничего не означала.  
Был тесен свод, был краток век,  
чтоб произнестъ чужое слово,  
Ты был всего лишь имярек,  
Но соль земли, но лет основа.  
Ты был насажен на иглу,  
пронзившую семь полушарий,  
и сам господь, припав к столу,  
вникал в божественный гербарий.

\* \* \*

В почти разглаженной, пригубленной у рта,  
ещё поблизости стоящей, праздной, мокрой,  
есть в осени степной смертельная черта  
застолья позднего, когда полупуста  
посуда жалкая, и норовят уста  
всем выболтать запретное. Так охрой  
тяжёлой, мертвенной — в степи залёг недуг

и обозначил то, что столь любили, только  
в совсем иных тонах, как будто чуждый звук,  
мы в голосе родном узнали и из рук  
случайно выронили что-то, и испуг  
татарником разросся. С этих губ  
неужто мог слетать чужой, немилый, колкий  
и лживый звук? Казалось, гул октав  
густой, властительный, перебродивший в нише  
под чашами грудей, на цыпочки привстав,  
к гортани тянется жгутом плюща, достав  
любимых губ, и влажною листвою шевелится, припав  
к раскрытым раковинам слуха. Но колышет  
горячий ветер переборы трав  
ещё живой степи и пропадает выше,  
всё иссушив, измучив всех, достав  
не вовремя, но говорить уже не стоит тише.

\* \* \*

День до сумерек выпит,  
и теперь пустота,  
словно «Бегство в Египет»  
по холстам разлита.  
Уж декабрьский, мощный,  
набирающий рост,  
на Дворцовую площадь  
лёг ночной купорос.  
Нам ли прежде дышалось?  
День как будто вдали  
Растворился, и жалость  
лишь осталась внутри.  
Так приблизилась просинь,  
что была далеко,  
мы уже не выносим  
снег, идущий легко.  
Мы ему не прощаем  
влажный, нежный размах,  
этот рой, эти стаи,  
эту кипу рубях.  
И почти без натуги  
из-под сомкнутых век  
видим столь неупругий  
и мучительный снег.

\* \* \*

Разложи секционные пилы,  
с синеватым отливом ножи,  
и шприцов слюдяные бутылки  
на стерильном столе разложи.

Драгоценный врачуя подарок —  
слиток мяса, дыханья, костей,  
слепок сводов, пролётов и арок, —  
ты не жди запоздалых гостей.

Возлюбивший в себе каждый атом  
должен плоть на пространство рассечь.  
Для того ли безумный анатом  
точит бритву большую, как меч?

Для того ли желтее ты глины  
под алтарными сводами, там,  
где качают пары формалина  
твой бетонный параллелограмм?

Но душа посылает приветы,  
покидая телесный футляр.  
Мы ослепли от лёгкого света,  
заглянув в потайной окуляр.

Задрожали в пространстве турбины,  
раздвигая заслонки дверей,  
где державу несут исполины  
и волнует просторы Нерей.

Аргонавты ударили в волны  
золотыми моторами. Там  
терпкой дичью и рыбами полны  
дорогие полотна без рам.

Безграничное поле событий  
не замкнётся на белом столе.  
Мы дождёмся кануна отплытий  
на огромном, как мир, корабле.

## *Александр Пчелинцев*

\* \* \*

Я войду в эту комнату снова,  
Где и воздух из латочек сшит,  
Где раскрытая Книга Иова  
На столе деревянном лежит.

Как прекрасно моё возвращенье!  
Тот же двор из прорехи окна.  
И людского круговращенья  
Пестрота и крикливость слышна.

Здесь глаза закрывал я устало,  
Изнывая от будничных дел.  
Здесь смеркалось и рассветало.  
Здесь Судьбой, как ангиной, болел.

\* \* \*

*Николаю Кононову*

Пластует смысл числа лепечущая птица,  
Прилипнув плавунцом к желе небесных вод.  
А там, на дне морском, безумно веселится  
Маниакальных тел эвклидов хоровод.

Лепёхи пахарь ест из клубней маниока,  
Не замечая птиц, присевших на плечо.  
Из-под кудрей седых глядит баранье око,  
В затылок дышит вол протяжно-горячо.

Ласкается у ног беременная пашня,  
Как женщина в ответ на мускулистый труд.  
В трохее спит хорей, но немощно и влажно  
Кресало естества, чтоб возгорелся трут.

Провизор знал не всё о языке провизий.  
Он клал в парик мышьяк, а в соус кардамон.  
Ему шептал во сне злой безъязыкий визирь  
О двуязычье змей, двуличии времён.

Зимою — день за днём как бусины. Першило  
На корне языка, ребёнком локоть ныл.  
И через сотни лет — о, боже мой — свершилось! —  
Вгоняя гвоздь в часы, дерзай, Иммануил!

Он, закатив глаза, в единственном обличье  
Бичующего трав унылый перегной,  
Сулил и обличал на ножках параличных,  
Слагая парадигм невыносимый зной.

И кисть — из рукава — болталась как нагая,  
На языке стоял параметр ключевой.  
Праматерь не шадя, ходила вдоль нагайка,  
Ломая ветхий хрящ структуры речевой.

А кто за ним? Душа, откинувшая ношу,  
Натугой парусин — рванувшись из фрамуг.  
И Абсолютный Дух, обувшийся в калоши,  
По лужам шёл в Театр на перекличку Фуг.

### *Портрет бабушки*

Она живёт несмело и поныне  
Всё обращая в пеньё и уныньё  
Прекрасное, как осень и как сад.  
Своим отзывам памяти лишь внемля  
На графы гряд расчерчивая землю  
Храня гербарий в горьких волосах.

Младой курьер по месту назначенья  
Вдруг обнаружив склонность к увлечениям  
Приволокнулся в самый травостой  
Но в свежем сене вспомним о разлуке  
Поймав двуколки колющие звуки  
Ширнул в пространство дымною верстой.

Река блистала серебром фамильным  
В излучине же зёрнышком чернильным  
Плыл островок и вечер излучал  
Со слабым вскриком сна и умиранья  
Валилась дева в бездну мирозданья  
Темнейшее начало всех начал.

Не мне судить но вы чудесно жили  
Глотая запах нутряного жира  
Мельком глядясь в разбитое трюмо  
Ещё твой мальчик худенький и хлипкий  
Не проронивший ни одной улыбки  
Глагол с мыслети увязать не мог.

Теперь ты чинишь латаные ситцы  
С усердием прилежной ученицы  
Сощурен взгляд но как рука легка  
А за окном — вечерние зарницы  
И ласточки как маленькие жницы  
Скликают кучевые облака.

Она живет несмело и поныне  
В двух комнатах где отзвуки пустыни  
Всё явственней и тишина грозней  
Украдкой собирается в дорогу  
Кладёт всего в котомку понемногу  
И повторяет сны ушедших дней.

## Пушкин 1818 год

И речь не о цене душевных мук.  
Чреват расплатой каждый шаг неверный.  
Но в этом — суть величия, наверно.  
А опыт свой — дороже всех наук.

Кто не живёт, а он — всегда живёт.  
С молвою вольнодумца, донжуана.  
Всё впереди — царапины и раны,  
Ментол любви и злости терпкий йод.

Ему на Бога нечего пенять.  
Бывает череда ночей бессонных —  
Тогда строчит при двух свечах в кальсонах, —  
Лишь успеваешь перья очинять.

Всё кувырком: со службы — пить вино,  
Потом — на бал в зевоту и оскому.  
И рад бы всё устроить по-другому.  
Хотя б с утра — но так заведено.

Вот и сейчас звенит вчерашний бал —  
Иль это гомон овощного ряда?  
Бал и базар — из одного обряда —  
Дороже сбыть товар. Вдруг Ганнибал

В нём пробуждался. С хищным нетерпеньем  
Он тут же становился у бюро,  
И говорило лёгкое перо  
О тяготах земных своим кряхтеньем.

Глядишь, найдёт расейская хандра,  
Когда дожди осенние да слякоть.  
И женщины тогда не прочь поплакать,  
А ты — с примочкой уксусной с утра.

Зато в деревне правит тишина.  
Стучится старый клён в окно светёлки.  
А ввечеру — задумчивы и долги  
Рассказы няни, гул веретена.

Мелькнёт гроза и бросит навзничь сад,  
Как Божий лик в писаньях Моисея,  
И ринется сквозь ночь, смятенье сея,  
И всё бежит, как много лет назад.

Ополоснувшись утром из корца,  
Летишь в седле, а сбоку над тобою  
Летит звезда с опушкой голубою,  
Прохладный ветер гонит сон с лица.

Вот так бы жить! Вергилия пример  
Его манил: не дожидаться манны.  
Ведь до сих пор дырявые карманы  
Да скука общепринятых манер.

Когда ты, всем известно, не изюм,  
Попробуй жить, цензуре не перечя!  
Куда ни глянь — везде противоречья  
Тебе готовят гладкую стезю.

За убежденья надобно платить.  
Иль самому платить, или кому-то.  
А разобраться — это ли не путы?  
Уж лучше по-шекспировскому — быть!

И то — не грех, когда казнишься сам,  
Как Чаадаев в философской власти,  
Но уж когда другим готовишь казни,  
То это не религия, а срам.

Томит в окне Успенья синева.  
На языке — воскресная прогулка.  
И он спешил туда, где плещет гулко  
В державный берег властная Нева.

Постукивая тросточкой, ходил —  
Сужалась перспективою аллея, —  
О собственных сужденьях не жалея —  
Кого любил, того и осудил.

Кому-то дело есть и до сего.  
И йод уже понадобился — щиплет.  
И жизни яд уже до капли выпит —  
Теперь он Раб всесила его.

\* \* \*

Миленькая стрекоза, ты не закрывай глаза —  
В них протянута река и летают облака.  
А на крыльях на твоих — два объёма силовых,  
Две печали дуговых, два дыханья мировых.

Птицы от садов желты, ты — легка от высоты.  
А под тёмною водой, под текучею слюдой  
Ходит щука-сверстница, горизонту крестница.  
А твоя не высока ль поднятая вертикаль? —

Даже в обмороке ты не пугайся высоты.

\* \* \*

Когда б я умер, всё б унёс с собой —  
И этот купол неба голубой,  
И ласточек, властительниц пространства.  
И шёпот дев, и пение реки,  
И все свои любимые стихи,  
И тополей осеннее убранство.  
Какой бы я оставил в жизни след? —  
Кусочек мела, вылинявший плед  
Да вздорных стариков воспоминанья —  
Что жил когда-то, был такой-сякой,  
Ходил-бродил, помахивал рукой,  
Страдал от размышленья и питанья.  
Я не горюю, горьких слёз не лью.  
С иных высот смотрю на жизнь свою  
С улыбкою родившегося бога.  
И долго ли ещё мне жить — как знать.  
Но в повести осталось дописать  
Ещё чуть-чуть, ещё совсем немного.

\* \* \*

Душа моя не устаёт  
Петь, ликовать, летать как птица.  
Она чуть свет уже встаёт  
И ходит в комнате девицей.  
Она не смотрит на часы.  
Она от счастья замирает,  
Увидев, как алмаз росы  
На солнце радугой играет.  
Её пленяют облака —  
Их вольнодумны очертанья.  
Она-то знает — так река  
Парит, плывёт в своих мечтаньях.  
Душа из города бежит  
Туда, где луг цветами светит.  
Едва жива — в траве лежит  
И запахом душицы бредит.  
Она пугается людей.  
Мелькнув хвостом, — в дупле таится.  
Ей каждый адвокат — злодей,  
И каждый прокурор — убийца.  
Потом — поди, её лови,  
Выманивай вареньем снова.  
А ей лишь капельку любви,  
Всего лишь — искреннее слово.  
Она желает жить в Раю  
И что-то там о Рае знает.  
И очень бабушку мою  
Душа моя напоминает.

## Сергей Надеев

\* \* \*

Б.Б.

За сто минут от наших встреч  
не разглядеть, сломив привычки,  
как ты пытаешься разжечь  
сырые, сточенные спички.

Как крошится, летит табак,  
что медно-рубленая обрезь!  
Нас разделяют бег и флаг,  
всем телом ощутивший скорость.

Разъединяет и гнетёт  
печаль невиданного толка.  
Так отделяют звук — от нот  
и влажность шелеста — от шёлка.

Не превозмочь ни тишины,  
ни ускользания друг от друга.  
И я не разогну спины,  
не разомкну пустого круга.

\* \* \*

С.К.

Мне издали ты кажешься иной,  
совсем не той, что в бесконечных сборах  
смеялась и стояла предо мной,  
храня печаль и лета свет и шорох.

В твоих губах — всё тот же терпкий вкус  
пустых дичков и запах плодоножек,  
стеклянный блеск перечеркнувших бус  
и выдох мой, у самых губ, — «О Боже!»

И я страшусь, что оборвётся связь,  
что прошлого осыплется стеклярус;  
останется, меж пальцами виясь,  
разлука, дым, отчаянье, усталость.

\* \* \*

...Как пахнет коленкор переизданий,  
не тленом ли?

Н. Кононов

Я простыл. Я не помню родства.  
И далече  
ты уводишь меня: за познание речи,  
за познание сути, за проблески быта,  
где судьба промелькнула, разъята, забыта...

Я не знал, что помимо провинций пасхальных,  
незашторенных окон палат госпитальных  
существуют понятия мглы и простора,  
не вместившие въедливый тлен коленкора.

Так ответь, не тебе ль за строкою тягучей  
этот жребий падёт, этот выпадет случай  
осознать, обретая значенье предтечи,  
созидательный смысл разрушительной речи?

Не тебе ли?..  
Но явь обнажает пружины,  
и мелькает бесплотная тень мочажины,  
и скрипят над водой жернова мукомолен...  
Я забыл... я не помню... я умер... я болен...

#### Автокомментарий

«...осознать, обретая значенье предтечи,/ созидательный смысл разрушительной речи» — стихотворение написано в 1982 году, за пять лет до кононовского «Орешника» и за десять до его действительно прорывного «Пловца», в котором в полной мере проявится принцип Кононова-поэта — созидание через разрушение; «...бесплотная тень мочажины» — это редко употребляемое слово означает постоянно мокрые, неравномерно поросшие камышом и осокой участки земли в местах выхода на поверхность грунтовых вод, т.о. — часть ландшафта. Мочажины встречал в стихах у Б.Пастернака: «С ночи одень меня в тальник и лёд./ Утром спугни с мочажины озёрной...» («Рослый стрелок, осторожный охотник...»). Да у Г.Калашникова: «На мочажине в початках рогоз./ Глаза в слюдяных превратились стрекоз/ И над лугами летают...» («Июль»).

\* \* \*

А.П.

I

В какой, в какой отчизне  
за жизнь, за упокой,  
глотать мы будем «Ризлинг»,  
разбавленный водой?



И жёны молчали в холщовых нарядах ночных,  
Крест-накрест к груди прижимали озябшие кисти,  
Белели в сенях и безмолвно прощали. И листья  
Роняли деревья в дверные проёмы на них.

## 2

До утра, раздирая ладони, кочевали по рыбьим кругам.  
И уключины медленным звоном подавали известия рыбам.  
А язи уходили неслышно по засыпанным илом пескам  
И попутно пугали личинок, чтобы бег не казался постыдным.

А когда на озёрах раскрыли, разобрали тяжёлую сеть  
И залили вином шаровары из гремучей брезентовой кожи, —  
Перестали язи торопиться и болотные птицы скрипеть,  
И развёл молодой доломедес в черепушке мучнистые дрожжи.

Пожимала округа плечами: что за выдумки, что за смешки? —  
В этот час не родиться подёнке и странгалии не возвратиться  
Из лугов к золотым эпифитам. Но плескал доломедес в ковши,  
А затем на холодную воду обернул черешком остролиста!

Застилая глаза и жужжала, восходил по осоке туман.  
Потонули угрозы ктырей и несложные вздохи стрекозьи.  
И от правого борта не видно конца кормового весла,  
А от левого борта не видно? — ни весла, ни креста, ни погоста...

## 3

О, замедлено время, как частые выдохи рыбы!  
И теряются сроки, и пальцы дымятся, и спины.  
Кто вы, юноши, в царстве стрекоз и хитина,  
Вычитальщики снов, выкликальщики ветра и ливня?

— Бузотёры, хлебнувшие ночи, не знавшие воли!  
Вы опять приложились к бездонным бидонам разлуки  
И весла древесину зажали в ладонях до боли,  
И уключины полны густых металлических звуков.

Вы прошупали дно и развесили жадные снасти.  
Вы рыданьями рыб наслаждаетесь, точно игрою,  
Медноскулые юноши, полные смеха и страсти.  
— О, легки ваши жесты забавы над сонной водою!

И, резиновой поступью мера пространство от борта,  
Вы заносите гибкое тело над плотью болота  
И, смеясь, второпях, вырываете рыбы аорты!  
И горит чешуя на брезенте, как медные соты.

## 4

А в это время всё преображалось. —  
На плоском дне в картонных рачьих юртах  
Рождались вздохи, шорохи, движенья,  
Мутили воду жирным прахом ила.

Всё глубже проникали кольца света  
И дно делили. И вокруг них бродили  
Глухие пучеглазые сазаны, —  
Как бы телки на привязи в лугах.

О, чем не лес! — В колоннах стрелолиста  
Карабкаются робко пандорины  
И турбеллярии срываются с листа.  
О, чем не роща для охотоведа,  
Для ловчего с капроновым сачком!

Но юноши подтягивают снасти.  
На уровне груди клокочет рыба  
Глухая жизнь. Да нет? — уже не жизнь...

Кто вам расскажет — старцы или воля? —  
Как под шестом хоромы серебрянки  
Взрываются, как обтекают листья  
Глухого рдеста воздуха шары?

О паника бескровного народа!

## 5

Шесты обломались! Из ила обломков не вынуть.  
Весло ускользнуло. По правому борту? — пропажа!  
На высохших сломах стрекозье семейство уснуло,  
На мокром весле — неподвижный тритон в экипаже

Подводных жуков. О, утраты легко восполнимы!  
Воды и осоки немислимо тронуть иначе,  
Как тонкой ногой водомера, скользящего боком,  
Крылом неуёмной подёнки, пустым и горячим.

А воздух бессилен и тонок в стволах остролиста.  
Не возьмется птицы, горячей воды наглотавшись.  
А Время зажало в ладонях стеклянные спицы,  
И завтрашний день — неминуемо станет вчерашним.

Крахмалом и крепом сентябрь укрывает округу.  
На влажной груди у него холодят амулеты.  
Носком сапога он грибы обрывает, куда  
Прибрежная хвоя изогнута влагой и светом.

Расчерчен и начат осенний торжественный табель,  
И в графах колеблются птичьи просторные флоты;  
Я чувствую явственной брызги разбившихся капель  
И в запертых ульях чеканные медные соты.

Мы Временем полны — как йодом жестяные кружки.  
И жжением полны — как воздухом — полости лёгких.  
Ручейник рыданными хижинами кварца разрушит,  
Осколки диффлюгий течением бросит на сушу...

...Золой камыша шелестят деревянные лодки.

1981

Автокомментарий:

Аргонавты. Первое путешествие. Апофеоз «насекомой» темы. Это было лето, когда мы активно осваивали «насекомую» тему, и были — ежедневно — стихи: «...*Сегодня сверчки/ настроили скрипки, подняли смычки./ врачаю мои прошлогодние раны, / цикады протёрли травой башмачки./ ударили дружно в свои барабаны...*» (С.Кекова), «*Я брат тритонов, родственник стрекозий...*» (Н.Кононов); «*О, насекомая пора!*» (А.Пчелинцев). Помнится, в «Доме быта» появилась услуга «Звуковое письмо». И я записал отрывок из поэмы, фактически напел — такая у меня была тогда манера чтения — и отправил пластинку в Саратов. Коля Кононов позже признался, что он всего Гомера перелопатил в поисках доломедеса. В его собственных стихах были бесчисленные протей (амёба и божество): «...*И черви под землёй безгласны, как протей*». В марте 1982-го литконсультант «Сельской молодёжи» К.Ковалёв недоумевал: «Я внимательно и с изумлением прочитал Вашу огромную рукопись (2 авторских листа!), большинство стихов которой посвящено жизни насекомых, в том числе и довольно редкостных для нас, горожан. Картины настолько фантастические, что я позволил себе познакомиться с Вашими стихами известную художницу Елену Флёрову. Та сказала, что как художник она воспринимает Ваши стихи как картины, в которых в большом количестве присутствуют гигантских размеров насекомые, а среди них таких же размеров порой появляются люди... К сожалению, стихи, присланные Вами, не отвечают традициям нашего журнала, журнал публикует небольшие лирико-философские стихи, проникнутые раздумьями о человеке, о его судьбе, о его связях с природой, Родиной, о его внутреннем долге перед жизнью». «Аргонавты» задумывались в двух частях, и второе путешествие должно было состояться в городские трущобы. Не получилось.

...*доломедес* — хищный полуводный паук на болоте; *подёнка* — (*метлица*) — однодневная бабочка тёмно-серой окраски, взрослые особи не способны питаться, т.к. ротовые органы у них недоразвиты, а кишечник превращён в воздушный пузырь, облегчающий вес насекомого. На подёнку хорошо берут голавль, язь, лещ, плотва; *странгалия* — древесный жук; *эпифиты* — автотрофные растения, не имеющие связи с почвой, они селятся на стволах и ветвях других деревьев, используя влагу и минеральные вещества атмосферных осадков и пыли (мхи, лишайники), *эпифиты* не являются растениями-паразитами; *застылая глаза и жужжала* — имеются в виду органы, которыми насекомые глядят и жужжат. Но есть ещё жужжало (*Bombylius*) — род мух, у которых голова не шире груди и тесно прилегает к ней, тело словно в меху, хоботок длинный, личинки паразитируют на личинках и куколках других насекомых

(перепончато-, чешуе- и прямокрылых), часто парят над цветами, издавая высокое, резкое жужжание; *ктырь* — хищное насекомое (лат. Asilidae) — сем. короткоусых двукрылых: довольно крупные мухи с сильно выпяченными глазами и длинными крепкими ногами. Сидят на деревьях, на земле, на камнях и высматривают себе добычу — насекомых, мелких животных, иногда ослабленных детей; слюна ктырей содержит сильный яд, от которого пойманная добыча мгновенно умирает. Укус ктыря схож по болевым ощущениям с пчелиным. В жаркие солнечные дни ктырь забирается на одиночное возвышение вроде заборной штакетины или торчащей на лугу былки и медитирует; *стрелolist* — болотная трава; *пандорины* — род колониальных водорослей семейства вольвоксовые; *турбеллярии* — класс плоских червей, обитающих в воде; *хоромы серебрянки* — *серебрянка* — водяной паук, строящий под водой свои гнёзда в виде подводного колокола, наполненного атмосферным воздухом, который увлекается им под воду в виде воздушной плёнки, облегающей тело. Задерживающийся на брюшке воздух блестит под водой, как серебро (отсюда и название); *рдест* — водное растение; *тритон* — хвостатое земноводное, похожее на ящерицу; *водомер* — *водомерка*: насекомое с тонким телом и длинными ногами, способное быстро передвигаться по воде; *ручейник* — небольшая бабочка с буро-коричневыми или фиолетовыми крылышками, очень похожая на стрекозу или крупную моль, днём малоактивна, а вечерами снует над водоёмом; *диффлюгия* — пресноводная раковинная амёба, для построения своей раковины она использует микроскопические песчинки.

## «КОКОН» И ЕГО ОБИТАТЕЛИ

Борис Борухов, Светлана Кекова, Николай Кононов,  
Сергей Надеев, Александр Пчелинцев —  
участники метагруппы саратовских поэтов «Кокон».  
*В. Огрызко. «Русские писатели. Современная эпоха. Лексикон» (М., 2004)*



Светлана Кекова, Сергей Надеев,  
Борис Борухов. Саратов, янв. 1982.  
*Фото Зинаиды Кордун*



Николай Кононов. Саратов, 1981.  
*Фотограф неизвестен*



На чердаке. Сергей Надеев. Саша Пчелинцев, Александр Пчелинцев,  
Александр Хаймович. Волгоград, лето 1982. *Фотограф неизвестен*



Светлана Кекова. Саратов, 1991. Фото Екуба Гаффарова



Машинописные книги, выполненные С.Надеевым:  
 Светлана Кекова. Из пяти книг. Волгоград, 1983;  
 Сергей Надеев. Счастливый домик. Волгоград, 1983  
 и его же Лесное лето. Стихотворения, поэмы. Волгоград, 1982



Из цикла фотографий «НА ХОЛМЕ». Сергей Надеев, Светлана Кекова.  
На втором плане: Людмила Александрова, Софья Хейфиц, . Саратов, 1981.  
*Фото Константина Александрова*



«Мне двадцать лет!».  
За год до «Кокона».  
Николай Кононов. Саратов.  
Фото Ефима Дызкина



Николай Кононов. Ленинград, осень 1983. Фото Зинаиды Кордун



Роман Мерцлин. ПОРТРЕТ КОНОНОВА. 1985  
х.м. 80x100



Машинописная книга, выполненная С.Надеевым:  
Николай Кононов. Из Провинциальных тетрадей.  
Стихотворения 1981-1982 годов /Саратов/ Волгоград, 1983



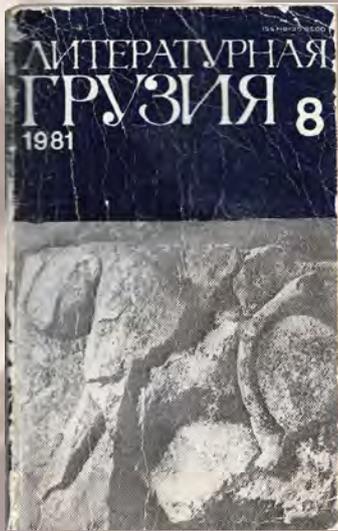
Лена Кекова (8 лет)  
КОЛЯ НА СТУЛЕ. 1982  
б.фл. 21x29,7



Светлана Кекова. Саратов, 1982.  
Фото Зинаиды Кордун



Борис Борухов. Саратов, конец 1980-х.  
Фотограф неизвестен



Журнал с первой публикацией  
Светы и Коли



Борис Борухов, Лена и Светлана Кековы.  
Саратов, конец 1980-х.  
Фотограф неизвестен



Рукописная рисованная книга Сергея Надеева «Белиберда» (бум., перо, тушь).  
Москва, середина 1980-х. Рисовала Зинаида Кордун



Сергей Надеев, Александр Пчелинцев. Москва, 1983. Фото Зинаиды Кордун



Некоторые из машинописных книг участников «Кокона»  
и «Изборник. Выпуск третий» (Волгоград, 1981:  
Лев Вахрамеев, Сергей Надеев, Александр Пчелинцев, Александр Хаймович).  
Выполнены С.Надеевым

*Евгений Абдуллаев*

## Закон сохранения

*Шесть поэтических сборников 2025 года*

И ещё один год. И ещё новая стопка книг на столе и жёлтая иконка «2025» на дисплее, с текстами книг.

«Стоит над миром год Змеи, все злобны, как удавы», — как пел Щербаков.

Уже не стоит, прошёл. Злоба, увы, осталась.

Поэзия, к счастью, тоже. Хотя видна она — и слышна — гораздо хуже. Почти не слышна.

«...Это огромное изменение для нашей Европы, прежде немыслимой без поэтов. Но если человеку больше не нужна поэзия, заметит ли он её исчезновение? Конец — это не апокалипсический взрыв. Возможно, нет ничего более тихого и безмятежного, чем конец».

Милан Кундера говорил это сорок лет назад, в интервью 1986 года.

Востребованнее поэзия с тех пор вряд ли стала. Речь идет, конечно, не о массовой, не о песенной, не о рекламной — эта будет «нужна» всегда.

Вспоминаю поэтические чтения последних трех лет. В Москве, Красноярске, Нью-Йорке, Ташкенте, Новосибирске, Душанбе...

Выступали поэты известные, чьи имена — для тех, кто интересуется современной поэзией, — должны быть на слуху. Аудитория? Человек пятнадцать, плюс-минус.

Вот из недавнего письма — от поэта (очень хорошего), о поэтическом вечере в одном тульском музее.

«...Было семь человек, включая меня и работников музея. Я это воспринял как знак, что не нужно высовывать голову наружу — “наружу” живет своей жизнью, и пусть себе живет. Денис (организатор вечера. — *Е.А.*) рассказал, что они приглашали из Питера одну поэтессу, дорогу ей оплатили — не пришло вообще ни одного человека. Поэтесса не растерялась, говорит: отлично, идемте гулять по ночной Туле, это такая фантастическая возможность, спасибо вам за неё...»

Только такие «фантастические» возможности для поэтов, похоже, сегодня и остались. И, возможно, это тоже неплохо.

Есть времена мощного выплеска поэтической энергии. Есть времена, когда требуется её сохранение и сбережение.

В этом, собственно, и видится смысл выпуска сегодня поэтического сборника. Не «ознакомить», не «представить» и уж точно — не «порадовать». Просто сберечь. Сохранить энергию поэтического слова. Как запасают воду в засуху. Как берегут тепло в остывшем обесточенном городе.

Сборники продолжают выходить. И в поэтических сериях, и вне серий.

Довольно активно работают новые московские поэтические издательства: «Пироскаф» (кроме прочего, вышли «Умножить на десять» Дмитрия Тонконогова и «Не быть Фемке Бол» Лилии Газизовой), «Синяя гора» (отмечу «Сочинения» Феликса Чечика) и Neomenia (о ней будет сказано в самом обзоре).

В «Новой поэзии» вышли Герман Лукомников («Букволюбие.txt») и Виталий Пуханов («Прозрачные горы»).

Как и прежде, активно трудится «Стеклограф». Среди прочего — «Хлебные ангелы» Камилы Латыповой, «Гризна» Ростислава Ярцева и «Ангел беспредела» Александра Францева.

За пределами столицы несколько заметных сборников выпустили питерские Jaromír Hladík press (в том числе «Попытки говорить по-русски» Алексея Порвина) и «Пальмира — Поэзия», а также челябинское «Издательство книжного магазина “Поэзия”» (включая «Петербургские кладбища» Игоря Бобырева и «Электрум» Даны Курской) и чебоксарская Free poetry. Продолжаются и «Действующие лица» ростовского журнала «Prosodia», о чем скажу чуть ниже.

Много интересного — не перечислишь — вышло и в русско-поэтическом зарубежье: «Книга/Сефер» и «Издательство книжного магазина “Бабель”» (Израиль), «Literature Without Borders» (Латвия), «Друкарський двір Олега Федорова» (Украина)...

Закон сохранения работает.

Издано за «змеиный» год много. Отобрал всего шесть книг. Светланы Михеевой, Виталия Леоненко, Алексея Пурина, Дмитрия Данилова, Амана Рахметова и Валерия Горюнова.

Как и в предыдущих обзорах, ещё раз оговорю субъективный характер этого отбора. Не претендующий ни на какую «рейтинговость». Список мог быть другим. В прежние годы пытался объединить отобранное каким-то принципом: место жительства авторов, принадлежность к поэтическим поколениям... В этот раз я отказался, разнообразия ради, и от этого. Писалось так, как писалось; без подверстывания под «идею». Чем и готов поделиться.

Итак, начнем: «Хэом!..»

### *«Хэом! — делает колокол...»*

**Светлана МИХЕЕВА. Тихие влюблённые. — Ростов-на-Дону: Prosodia, 2025. — 72 с. (Серия «Действующие лица»)**

Владимир Козлов как-то сказал: «Я издаю только те книги, которые нельзя не издать»<sup>1</sup>. Жаль, что книги в издаваемой им серии «Действующие лица» выходят нечасто: две-три в год.

В прошлом году вышла одна — «Тихие влюблённые» иркутской поэтессы Светланы Михеевой.

Одиннадцать лет назад в годовом «дружбинском» обзоре я писал о другом сборнике Михеевой, «Отблески на холме» («Дружба народов», 2015, № 3).

С этого времени стал суше, графичнее (не теряя своего лирического нерва) стиль. Больше безрифменных стихов. Если о книге Горюнова (о которой будет ниже) можно сказать, что это исследование языка, «Тихие влюблённые» — это медленное и осторожное исследование любви.

<sup>1</sup> <https://prolitcult.ru/krugliy-stol-pereverzin>

Тишина сквозь луч,  
баюкающий пылинки,  
просится на свободу — она влагает  
в наши уста чужое произношение.  
Лица, неузнаваемые личинки,  
требуют узнавания  
и совершенья.

Вдруг  
начнут возвращаться навыки, языки,  
волнами светлой накатывающей тоски —  
полдень ровным телом завис над лесом,  
трёт спросонья розовые виски,  
падает в острые заросли облепих:

я ли это в твоих глазах?  
ты ли это — в моих?

От привычного любовно-лирического вокабуляра здесь — только «светлая тоска» и отражение в глазах любимого (любимой); последнее, впрочем, звучит вопросительно и неуверенно. Остальное — описание невозможности прямого любовного высказывания; немоты, порожденной этой невозможностью, и природы, приходящей и, одновременно, не приходящей на помощь.

Как и в другом стихотворении, где любовь и природа (уже не полдень, а дождь) тоже плотно сопряжены: «Любовь — исследование поверхностей,/ может быть, в большей степени, чем/ дождь зелёный, падающий наотмашь,/ тут же гаснущий насовсем».

Это звучит как спор с хрестоматийно пастернаковским: «Во всём мне хочется дойти...». В любви невозможно дойти «до самой сути»: она, как и сказано, «исследование поверхностей». Впрочем, поверхности любви обманчивы: под одними скрыты другие, и ещё...

Хэом! — делает колокол:  
он спрятан внутри воздуха,  
он облицован твердью,  
синей, как молоко  
в тонких скрипучих вёдрах.  
Эууу! — делают вёдра,  
раскачиваясь вдоль тела,  
несущего их внутри.

<...>

Слышно, как бьётся в вёдрах,  
оставленных на веранде,  
то ли вода,  
то ли рыба,  
то ли колокол воздуха.  
Завтра выпущу в море.  
Выключи верхний свет.

И верхний свет гаснет — чтобы зажечься свету поэзии, неяркому, но живому. С его вёдрами, колоколами, рыбами и необычной, почти хлебниковской ономастопеей: Хэом! Эууу!

*«...У скрещенья грунтовых дорог»*

**Виталий ЛЕОНЕНКО. В тёмной листве. Стихи 2019-2021 гг. —**

**Пушино-на-Оке: [издательство не указано], 2025. — 188 с.**

**Виталий ЛЕОНЕНКО. Посреди унесённого сада: Стихи 2022-2025 гг. —**

**Пушино-на-Оке: [издательство не указано], 2025. — 186 с.**

Эти книги не вышли ни в какой книжной серии; не указано даже издательство. Как, впрочем, нет и выходных данных. Поэтический самиздат в чистом виде. Как это было в 90-е и ещё в 2000-е; сейчас такие встретишь редко.

И вместе с тем книги итоговые; можно сказать, двухтомник. Я их и посчитал условно за одну книгу.

«Кто меня не знает, я немного расскажу о себе, чтобы было понятней, почему я пишу то, что пишу, и именно так пишу...» — начал автор свое выступление на презентации в московском «Книжном Клубе» (23 сентября 2025 г.).

Под псевдонимом «Виталий Леоненко» он, действительно, не слишком известен: одна публикация в «Зинзивере», пара — в «Плавучем мосте». Более известен он под другим своим псевдонимом, «Пётр Епифанов»: переводчик Симоны Вейль, Макиавелли, Кастильоне, автор двух книг прозы.

Человека, скрывающегося за двумя этими псевдонимами, зовут Сергей Дурасов. Родился в 1963 году в Красноярске. Окончил истфак МГУ. Двадцать с лишним лет был в старообрядческой церкви: чтецом, потом священником. Стихи вначале писал на церковнославянском. Уйдя в мир, стал писать на русском.

Духовная лирика? Да, и она. Но непривычная. Христианские сюжеты увидены как часть пейзажа, чаще всего, среднерусского.

На зелёной траве, у скрещенья грунтовых дорог,  
коромысло воды — пара полных до края очей.  
Да на брёвнышке тихо беседу ведущий пророк  
с деревенскою женщиной. А под мостками ручей

тих в своей глубине, убаюкав встревоженный сон.  
Анемона цветки трепещут на склонах холмов.  
Вяз блеснул наклонённым ребристым листом.  
Дали будто парят. Но вещественно, плотно лилов

этой пашни просохшей в зелени врезанный клин.  
И белеют цветки, и разносится пух с тополей.  
Слышишь, слово журчит из потаённых глубин  
на закате, на брёвнышке, в травах у края полей.

Беседа Христа с Самарянкой показана как часть космическо-природной жизни. Сама беседа как бы отступает на второй и даже третий план — ею становится весь сотворенный Богом мир. И не важно, что евангельская Самарянка из горожанки превращается в «деревенскую женщину», а колодец Иакова, у которого происходила беседа, — в ручей.

Важна сама пейзажная, натурфилософская оптика.

Нечто близкое встречал лишь в ранних стихах Алексея Дьячкова, «Первые апостолы» и «На берегу». Там тоже евангельские святые были «погружены» в пейзаж. Но у Дьячкова сквозь зарисовки природы всегда проступают приметы истории: и личной, и отечественной, российской (а в стихах последних лет — и тревожной современности).

У Леоненко это тоже присутствует — но где-то за кадром, в контексте. Глухим намеком, деталью. Как у Брейгеля в «Падении Икара». Или в пуссеновском «Пейзаже с вдовой Фокиона, собирающей его пепел» (фрагмент из последней воспроизведен на обложке «В тёмной листве»). Трагичное полностью растворено в светлом и мажорном звучании природы.

Кладка кирпичная перечно-пряна.  
Синь. Самолёта два светлых следа.  
Переливаясь, как трубы органа,  
пышет под кровлей сосуллек гряда.

В кратком послесловии (в конце второго «тома») поэт и пишет об этом. Что стремится «именно “воспевать”» этот мир и его радость.

«Воспевать солнце, облака, синеву неба, моря и реки (прежде всего, Оку, на которой я вырос), деревья, цветы, животных и птиц. Любимую женщину, детей, любовь между мужчиной и женщиной, производящую в мир новых людей. Да, я считаю это изначальным, природным, сущностным делом поэзии».

И, читая двухтомник Леоненко, с этим невольно соглашаешься.

### *«...Само движенье, сам покой»*

**Алексей ПУРИН. Паруса: Стихи и эссе. — М.: Б.С.Г.-Пресс, 2025. — 688 с.**

В отличие от Леоненко, Алексей Пурин в особом представлении не нуждается. Автор многих сборников поэзии и эссеистики, лауреат многих премий. Многолетний, с 1989 года, заведующий отделом поэзии в питерской «Звезде».

Книга вышла к семидесятилетию поэта, почти семьсот страниц; в каком-то смысле избранное. Начиная с самого раннего (зачем-то дополненного позже пояснительным катреном), написанного в 1975 году, ещё двадцатилетним поэтом:

Он видит с Монпарнаса  
коросту рыжих крыш,  
лиловую террасу  
и розовый Париж.

Как неуместны эти  
цветущие тона,  
когда на белом свете  
огромная война

и будущее ими  
оплачено уже —  
такими молодыми,  
что холодно душе.

Здесь в зачатке весь будущий Алексей Пурин, все его основные темы — и «тоска по мировой культуре» (точнее, европейской), и столкновение культуры с варварством, и печаль о напрасно исчезающей, гибнущей молодости.

Игорь Шайтанов когда-то отнес Пурину к поэтам «с ощущением культурной традиции как ценности более высокого порядка, чем индивидуальное самовыражение» («Арион», 2000, № 4).

Стих Пурину культуронасыщен и культурозависим. Но все эти статуи и архитектурные (и литературные) памятники, которыми он так богат, — лишь одна

сторона, один слой. Слой застывшей, стареющей и умирающей культуры, *танатоса*. Под которым — и сквозь который — шумит и брызжет слой *эроса*, вечно-юной плоти, варварства и либертинажа.

Всё это и бушевало в ранних сборниках, «Архаике» и — даже с переизбытком — в «Апокрифах Феогнида». В нынешний, видимо, по соображениям внелитературного порядка, не вошло. (Но тут уже претензии не к поэту, а к новейшему фарисейству, воинствующему и вездесущему.)

Столкновение этих двух слоев — плоти культуры и плоти человека — и составляет, пожалуй, главную тему поэзии Пурина. Человеческая плоть приобретает классическую статуарность, а статуи, фонтаны и монументы — эротическую живость и музыкальность<sup>1</sup>.

Струя, взлетая, упадет  
в ту чашу, что и так полна, —  
и из неё перетекает,  
не зная отдыха и сна,  
в другую, нижнюю, сверкая, —  
и третья ждёт её такой —  
всё наполняющей до края:  
само движенье, сам покой.

Но самый, наверное, излюбленный образ Пурина — Нарцисс.

В нем пересекаются и линия культуры, и линия плоти; и эрос (влечение к своему отражению), и танатос (смерть от невозможности расстаться с ним). В книге, кроме перевода «Нарцисса» Рильке», — целых три стихотворения «Нарцисс».

Как песчаное дно, трепетала грудь,  
и упругие рыбы торили путь,  
и твой облик сливался с любимым ликом,  
и взаимным дол оглашался кликом...

А теперь над тобою вода чиста  
отраженьем облака и куста,  
вместо лика-облика — лоск и блики,  
ибо те, что сжаты серпом, безлики.  
Только тишь да гладь, не шумит камыш,  
не шуршит в траве полевая мышь,  
слёзы смыты и вышел финал обидам —  
и лежит весь мир ледяным Аидом.

Мир, из которого уходит эрос, становится ледяным царством смерти. Но пока «к зеркалу влаги склонился Нарцисс» (как сказано в другом стихотворении, «Не здесь, не сегодня, а, скажем, тогда...»), надежда и тепло остаются.

Больше половины книги занимает литературная эссеистика. Вся выходившая в 90-е (потом Пурин почти перестал ею заниматься), яркая и стильная (сейчас, увы, так не пишут). И сегодня читаемая с интересом.

«А живем мы в величественную эпоху полного краха. В эпоху праха и крох, в эпоху внезапно образующихся расщелин и незаметных глазу лакун, заполненных призраками <...>. Нас обступает пора оговорок и опечаток, распада коммуникаций смысла — на фоне невообразимого прежде расцвета формально-коммуникативных средств. Всякая появляющаяся ценность <...> бесследно тонет в разлившемся

<sup>1</sup> Даже Лев Оборин в своем не слишком комплементарном отклике на книгу отметил музыкальность поэзии Пурина. (Лев Оборин. Поэтический язык закаляется // Сайт «Горький», 14 января 2026 г.)

информационном, но, по существу, как раз становящемся всё менее информативным океане знаков и литер...»

Из статьи «Архивисты и новаторы», 1994 год. А как будто сегодня писалось.

### «Просто быть»

**Дмитрий ДАНИЛОВ. Imagine. — М.: АСТ; Редакция Елены Шубиной, 2025. — 160 с.**

Если у Леоненко — поэзия на грани живописи, а у Пурина — на грани музыки, то у Данилова — на грани прозы. На грани повседневной речи, с её заземленностью, и внутренней речи, с её сбивчивостью.

И всё же это поэзия. Даже без «всё же».

У неё тоже своя традиция, идущая от американской стихопрозы прошлого века. Прежде всего, от Чарльза Буковски, чьи стихи в переводе Кирилла Медведева вышли в 2001 году<sup>1</sup>. Почти в то же время Медведев начал публиковать собственные стихи, написанные под влиянием Буковски. Пусть драйва американского первоисточника в них явно не хватало, новизна приёма была оценена.

Стихи Данилова близки этой поэтической линии. Речь не столько влиянии, сколько об общем векторе поэтического движения. Создании не просто «прозы в столбик», а поиска зазоров и лакун между прозой и поэзией, где само их разграничение теряет смысл. С поэтизацией внешне неяркого и непримечательного. С обилием повторов и рефренов, создающих особый, вращательный ритм этих стихов.

В большинстве стихов Imagine нет сюжета. В них, по большому счету, вообще ничего не происходит. А если что-то и происходит, то не становится важным. Что же становится важным? Оговорки, ничего, по сути, не оговаривающие. Уточнения, ничего существенного не уточняющие; скорее, оставляющие знак вопроса.

Поэтическая мысль постоянно раскачивается между антиномиями, как маятник.

Два стихотворения даже заканчиваются таким сходным образом. «Это свойства, скорее/ Человеческой глупости/ Или нет» («Будущая ностальгия»). И: «Наверное/ У американских поездов/ У американских спящих поездов/ Такие же сны/ Как и у наших/ Или нет» («Сны поездов»).

«Или нет» — самое важное.

Герой этой поэзии постоянно в чём-то сомневается и чего-то не знает. Как правильно говорить, «в аэропорте» или «в аэропорту». Как провести последний день в Ереване. Как пережить локдаун. Как вообще жить.

«Не знаю», «не знал» встречается в книге раз десять.

И не потому, что герой Данилова — растяпа и неудачник; хотя ощущение неудачничества — не в житейском, а в экзистенциальном смысле — присутствует. Но дело не в нём. Сама реальность устроена так, что что-то однозначное сказать о ней невозможно. Она зыбка, ненадежна и неопределенна.

Это поэзия скептицизма — в античном смысле этого слова. Скепсис не как нигилизм, а как плодотворное (хотя порой и мучительное) сомнение во всем. В себе самом. В мире. В прошлом, в будущем. Во многих вещах.

Но не во всех.

Герой Imagine не сомневается в существовании Бога. И ведет с ним напряженный диалог. И Бог не то чтобы разрешает сомнения (Он может у Данилова ответить:

---

<sup>1</sup> Чарльз Буковски. Блюющая дама. <Стихи, письма> / <Пер. и сост. К. Медведева>. — М.: Adapted/T-ough Press, 2001.

«А Я и Сам не знаю»), но придает смысл всей этой зыбкости и неопределенности. Самой жизни, самому бытию — перед лицом небытия.

Бытие, само по себе, уже ценно. Даже без сопутствующей ему деятельности, успешной или, чаще, не очень. Просто *быть*. Как в стихотворении «Гагарин и Бытие» (в чьем названии слышится скрытая контроверза «Чапаеву и Пустоте»).

Цитировать Данилова сложно — как почти всех поэтов, пишущих объемные верлибры. Здесь работает образная логика целого; сложно выбрать «показательный» фрагмент. Всё же процитирую — из «Гагарина и Бытия»:

Его главной  
И единственной задачей  
Было просто быть  
Быть, существовать  
Транспортировать Бытие  
На околоземную орбиту  
И как-то продержаться  
Просто быть, быть  
Ничего не делать  
Просто быть  
Вероятность продолжения Бытия  
Была невелика  
Говорят, процентов пятьдесят  
Или меньше  
Первый раз, всё-таки  
Самый первый раз

Поэтому всё, что причастно бытию, у Данилова согрето таким сочувствием. И чем более бесполезно, уныло, неудачно, тем этого сочувствия — и поэзии — больше.

Попсовые песни. Футбол. Электрички. Окраины.

Почти двадцать лет назад, в отклике на первый сборник Данилова, Ирина Роднянская писала о «той постоянной радости, которую испытывает автор, обнаруживая, что всё вокруг, даже самое жалкое и унылое, наделено даром бытия» («Новый мир», 2007, № 6).

Скепсис и радость. И стихи, возникающие из их пересечения.

### «Бог облаков»

**Аман РАХМЕТОВ. Человек засыпает и становится фотографией. — Алма-Ата: ADAM fiction, 2025. — 96 с.**

Аман Рахметов начинал с почти классической силлаботоники. Родился и жил в Казахстане. Жил в Воронеже, учился в военном училище. Постепенно писал всё свободнее и раскованнее. Дружил с воронежскими поэтами, Василием Нацентовым и Сергеем Рыбкиным, тогда ещё тоже начинавшими. Вернулся в Казахстан; ушел из армии, всё дальше отходил от силлаботоники.

Книга, разумеется, не об этом. Есть какие-то автобиографические отсылки. О военной школе. О детстве в ауле.

моя мама была хорошим стоматологом  
хорошим потому что была единственным  
стоматологом на весь аул  
в котором мы жили  
и мне трудно было представить

что стало с зубами моего аула после того  
как мы переехали жить в город  
помню как мы ехали в огромной гружённой  
мебелью и прочими вещами машине  
а я всё думал о зубах  
своих соседей одноклассников учителей

Не припомню, когда стоматология становилась темой русской поэзии.

И всё же книга не об этом.

Она — о постоянном поиске себя.

Поэтическое «я» автора постоянно ищет себя. В проступившем отражении в витринном стекле кафе. В музыке, звучащей из-под кровати. В сдаче зачета по бегу на три километра. В произнесении слова «длинный». В любви.

Находит — и снова теряет.

Как Нарцисс, герой глядится в мир, как в зеркало; не ради самолюбования, но ради самопознания. «Зеркало», кстати, довольно частое слово в этой книге, повторяется девять раз; одно стихотворение так и названо, «Зеркало» (для сравнения — в книге Данилова это слово отсутствует вообще, только в одном месте упомянуто «зеркальце»)...

Но заглянув в зеркало, вглядываясь в него, герой Рахметова видит не себя. А, например, любимую женщину. Или стамбульские улицы. Или даже бога облаков.

мокрого времени  
мокрая шерсть  
сохнет под солнцем  
становится грубой

бог облаков  
просыпается в шесть  
смотрит в зеркало  
красит губы

То, что бог облаков красит губы, вряд ли удивляет: облака (еще одно частое у Рахметова слово) — метафора текучести и изменчивости, игры, перевоплощения... Даже когда герой видит в зеркале самого себя — видит он себя каким-то другим.

однажды за ужином она долго смеялась надо мной  
почему ты смеёшься, — спросил я  
а ты посмотри в зеркало, — ответила она  
тогда я встал из-за стола  
подошел к зеркалу  
и увидел  
как время стекало с моего подбородка  
я тут же протёр его рукавом рубашки  
и вернулся за стол

Борис Кутенков определил это, в отклике на книгу, как «род автофикшна», но с выходом «за пределы реальности, где стирается граница между явью и сном» («Интерпоэзия», 2025, № 4).

Согласен. Хотя, думаю, это не столько выход за пределы реальности (границы «реальности» в поэзии задаются самой поэзией), сколько поиск нового взгляда. На себя, на близких и далеких людей, на мир.

*«Протягиваю тебе камень...»*

**Валерий ГОРЮНОВ. Заметки о взрослении земли. — М.: Neomenia, 2025. — 42 с.**

Созданная в конце 2024-го Владимиром Коркуновым серия «Neomenia» близка по стилистике к сериям «НЛО» и «Воздуха»; разве что более «молодежна»<sup>1</sup>. Из авторов четырех книг, вышедших в Neomenia в прошлом году, только Валерия Горюнова (1994) можно отнести к тридцатилетним; остальные родились между 2000-м и 2005-м.

Поэтической темой Горюнова является язык. Звук, алфавит, шумы и звучания.

«У Горюнова есть доля наследия футуризма», — отмечает в предисловии Александр Уланов. Эта «доля», думаю, — наименее интересное у Горюнова, разве что для любителей графических кунштюков и филологических ребусов.

Интереснее, когда поэт начинает, по его же словам, «говорить на языке фактур», а не абстракций. «Касаюсь колоса: на ладони/ сепия живого пепла». Или ещё один яркий осязательный и одновременно «звуковой» образ: «под дождём/ воздух тактилен/ и голос звучит троисто».

Поэзия Горюнова не только *словесна* — она *древесна*; «дерево» — столь же любимый в ней образ, как у Рахметова — «зеркало».

в лесу исчезает значение слова  
и я больше не я  
каждое имя каждый голос  
качается в неравновесии

чутк|ость  
чу|ткость  
чут|кость

Жаль, что после этих строк начинается нудноватые филологические медитации: «лекция по лингвистической анатомии/ чуткость — стрела/ со звездой наконечником/ что вонзается в сердце стрелявшего./ звездные лучи — придаточные корни...» И так далее. Из живого и чуткого леса языка мы попадаем даже не в бодлеровский «лес символов», а в поэтический сухостой.

Наиболее удачное стихотворение в сборнике, наверное, о потере и обретении языка.

новые люди потеряли язык,  
и на какое-то время  
вернулось вавилонское столпотворение  
голосов, издающих  
бессмысленные междометия.

письменность,  
на которую возлагались надежды,  
вызывала одышку и панические атаки.

слишком человеческое прекратилось.  
повсюду пасмурный рыбий клёкот...

протягиваю тебе камень,  
и ты понимаешь: прости меня.

<sup>1</sup> В какой-то мере она наследует «вавилонской» серии «Библиотека молодой литературы» (1993—2004) и сменившему её «Поколению» (2005—2022; в начале этого года Дмитрий Кузьмин, куратор серии, сообщил о «перезапуске» этой серии).

базилико молчу,  
и ты догадываешься,  
что приготовить на ужин.

Молчание, жест — то, что остается для понимания в эпоху «пасмурного рыбьего клёкота». Пусть даже жест протягивания камня, на первый взгляд, парадоксальный. Но там, где ничто не означает ничего, где язык потерян, протянутый камень может означать просьбу о прощении.

Несколько избыточным выглядит «базилико»; без него лирический герой молчал бы лучше. Но, возможно, тогда угадать пожелания на ужин было бы сложнее.

Кроме сборника Горюнова, в Neomenia вышли «Хрусталики глаз звенят» Дарии Солдо, «Смирненные ласточки» Софьи Дубровской и «Мансарда с окнами на восток» Евгении Либерман.

Из сборника Дарии Солдо:

человек — пенка, снятая  
с птичьего молока;  
  
его имя пушинкой  
летит  
в холодные облака;  
  
его сердце бумажное —  
лотерейный счастливый билет:  
  
как хорошо, что я есть —  
  
как жаль, что меня  
  
нет

Единственный, на мой взгляд, недостаток этой интересной серии — избытие предисловий-послесловий. По два предисловия и по два послесловия в каждом сборнике. Зачем? Уже писал об этом не раз; повторю ещё.

Предисловие к книге современного поэта — эхо «совписовских» времен; до тридцатых годов прошлого века оно было редким исключением. Даже к дебютным сборникам. Не было предисловий/послесловий ни к «Руслану и Людмиле», ни к «Стихам о Прекрасной Даме», ни к «Камню», ни к «Я!», ни к «Столбцам» (могу перечислять еще)... И ничего, как-то и без этого в истории русской поэзии остались.

Хорошо, на крайний случай можно пару кратких отзывов-блербов на обложку.

Стихи говорят сами за себя. Или *не* говорят; но тогда и дюжина предисловий и послесловий не спасет.

На этой, несколько ворчливой, ноте и завершаю.

И на собственном — авторском — сожалении.

Как всегда, жалею, что не получилось сказать обо всех книгах, о которых первоначально планировал. О двух сборниках избранного, «Стихи» Андрея Грицмана (Кфар Саба: «Книга Сефер») и «Шестое чу» Андрея Коровина (М.: Русский ПЕН-центр). О новой книге Нади Делаланд «Фигуры и тропы» (М.: Делаландия). И ещё о нескольких книгах.

Не срослось.

Постараюсь откликнуться на них — и на новые сборники — в иных форматах. Хотя бы для того, чтобы быть ещё *одним* их пристальным и отчасти пристрастным читателем. Чтобы конец поэзии, если он ей и светит, не был слишком тих и безмятежен.

*Валерия Пустовая*

## Не искази

**Александр СНЕГИРЁВ. По линии матери. — Предисловие Елены Погорелой. — М.: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2025. — 352 с.**

Чего не ожидала я от писателя Александра Снегирёва — так это того, что новое его повествование открываться будет словами: «Род Никитиных происходит из владимирских земель».

Что ж в этих словах такого? — спросят меня. А в том и дело, что ничего — от стиля самого писателя.

Александр Снегирёв — автор, ярко запоминающийся и узнаваемый.

Можно запомнить его как меткого охотника за деталями современности — причем деталями не расхожими, интимными, скрывающимися подчас за фасадами частных домов и обеспеченной жизни.

Можно рекомендовать его как тонкого летописца любви — и безусловного мастера эротической прозы. Жанра, который в текущей литературе отступил на поля вместе с самим любовным увлечением: в романах нового поколения не так часто встречается любовное взаимодействие, диалог двоих в страсти, а у Снегирёва это одна из главных сюжетных пружин.

А можно отринуть эту любознательную корысть, отключить в себе соглядатая и современности, и современных нравов в любви — и наслаждаться только стилем Снегирёва, самим выбором и соседством слов, их игривой и одновременно ранящей силой. Чуткость к слову, чуткость к колебаниям страсти, чуткость к демонстративному обаянию и тайной уязвимости людей — это облако восприимчивости создаёт неповторимый образ Снегирёва в прозе.

Но эта первая фраза повествования в новой книге: «Род Никитиных происходит из владимирских земель» — разве писательский стиль? Это анонимное письмо самой истории, в которой люди веками выживают, собираясь в роды и племена, и всякий род откуда-нибудь да происходит.

Слова кажутся чуждыми, чужими — не присвоенными писателем. Да и семья, как выяснится, не своя.

Восстановление корней — и модный тренд, и огромная общественная работа, которой не видно края. Многие люди сегодня обращаются к архивам и воспоминаниям и не только восполняют родословные, но и составляют повествование — на разном уровне и профессионализма, и художественности.

Зачем это нужно собирателю семейной памяти — вроде бы ясно. Восстановить историческую справедливость. Докопаться до тайны. Осознать свою принадлежность времени и месту, взрастившим не только самого собирателя — но и весь его род. Почувствовать неслучайность своего места в жизни: с точки зрения собирателя, все удачи и несчастья семьи неизбежно оказываются нацелены на то, чтобы породить его на свет. А за неслучайностью жизни прозреть и какую-никакую её осмысленность.

Александр Снегирёв добавляет ещё один довод — экзистенциальный звонок. В прологе он набрасывает словно бы начало рассказа — остренькое в деталях, демонстративно интимное в ракурсе: «На экране лицо транслируется снизу: в эпоху видеосвязи такой, отчасти интимный, ракурс стал привычным».

И пронзительное по мысли: «Собрал настоящий архив: документы, рукописные строчки, фотографии, цифры, списки, десятки заархивированных судеб. Зачем они тебе, Митя? Зачем тебе все эти мертвецы?»

Именно Митя — современный мужчина, ведущий «респектабельную жизнь»: потенциально типичный герой прозы Александра Снегирёва — выступает заказчиком, инициатором создания книги. Хочется думать в образах эпохи Возрождения: респектабельный негодник обращается к известному художнику за семейным портретом.

Вот только художник пишет что-то другое — точно не портрет, не художественное полотно, которое силой искусства приторочивало бы частную жизнь к вечности.

Да и респектабельность — и это тоже типично для прозы Снегирёва — оборачивается уязвимостью: «Мите страшно. Он много думал о своём страхе, работал со своим страхом. Нужна компания, нужна поддержка, что-то большее, чем дружеское плечо, вера в себя и вот это вот всё. Нужно дыхание родных покойников, не ледяное, могильное, а ободряющее. Покойники не соревнуются, не самоутверждаются. Если будешь падать, не дадут упасть, а если суждено упасть, подхватят, примут в свой сонм и никогда не оставят».

Вот так: портрет Мити в книге получился превосходно — а портрет семьи намеренно написан не был.

Митя, кстати, тут же, в прологе, на фото — с прадедом, чьи воспоминания будут приведены в третьей части книги. Томик «По линии матери», как образцовая хроника семьи, снабжен фотографиями — детскими, брачными, парадными, бытовыми — и вклейкой генеалогического древа. И составлен из трёх разнородных частей, в которых писатель Снегирёв на наших глазах самоустранился.

В прологе и первой части его голос ещё хорошо слышен: здесь он излагает историю Никитиных, Подставиных, Вавресюков, Тереховых. Рождение, крестины, бракосочетания. Арест, эмиграция, гибель. Похвальные грамоты, карьера, дети. Разорение, вдовство, адюльтер.

Называет текст «нашим исследованием» и действительно исследует. Когда он пишет: «Строчки про двойной обвив пуповиной кем-то позже зачернены и видны только при внимательном изучении скана», — я живо представляю себе не столько зачерненные строчки, сколько глаза и руки писателя, крутящего скан, чтобы лучше всмотреться.

В первой части Снегирёв позволяет себе проявляться, присутствовать — соседствовать с героями в восприятии читателя.

Позволяет себе трактовать: «Слова Галины Борисовны о предназначении содержат какую-то задумчивость, возможно, печаль».

Делать умозаключения и даже слать возвышенные месседжи: «Напрашивается не абы какой вывод — мол, вот была прелестная девочка с белой лентой в волосах и с белой чашечкой в руках на детском празднике, наследница положения и состояния, а потом всё пошло наперекосяк: адюльтер отца, война, революции, реквизиции, голод, девятилетка; жена врага народа, учетчица, комплектовщица, столовщица, продавщица лотерейных билетов. Предугадать развитие судьбы нам не дано, но сохранить этот самый огонь в глазах мы можем попытаться. Ирине Михайловне это удалось — и, как знать, возможно, и мы, всматриваясь в зыбкие следы её жизненного пути, однажды постигнем её секрет».

Иронизировать — скрыто, упрятав усмешку в чинное по виду повествовательное предложение; и над некоторыми такими подмигиваниями читателю я хохотала в голос.

А главное, позволяет себе найти героя. Несмотря на принятую роль исследователя и хроникёра, распознающего людей по фактам, а не по свойствам личности, Снегирёв в первой части книги не пишет так уж ровно. Временами видно, как он прямо-таки оживляется.

Что-то щелкает, задевает, срабатывает.

И вот в хронике появляется отсылка к сундуку Билли Бонса: «Билли Бонс хоть и был кровожадным пиратом и горьким пьяницей, но наследство оставил образцовое: оружие, наличные, ценные бумаги и романтическая деталь в виде морских раковин. Владимир Иванович Серков, петербургский архитектор и действительный статский советник, тоже одарил наследников вполне упорядоченными делами».

Комментарии к письмам влюбленного невропатолога, рвущегося из брачных уз, дают повод к диалогу писателя с персонажем. Тон Снегирёва заметно теряет объективность: «Оправившись от тягот революции и Гражданской войны, в 1922 году Михаил Павлович берётся за старое: “Всё моё существо охвачено мыслями о нашем будущем. Мне не нужно было сообщать Л.В., что я с тобой виделся”»; «Лирические образы у Михаила Павловича изменились под стать эпохе, сделались более пролетарскими: в 1914 году он хотел, чтобы нити сплелись, спустя десять лет — чтобы жизни спаялись». А комментарий: «Михаилу Павловичу явно доставляют удовольствие любовные интрижки напоказ» — выглядел бы даже бестактным, если бы не чувствовалось, что написан он с доброжелательным и притом профессиональным писательским интересом.

Тот же интерес: вглядывание в потенциально яркого, обещающего готовый сюжет персонажа — чувствуется в одобрительном комментарии к фото другой героини, которая «осознаёт свою привлекательность, знает свои выгодные ракурсы, ведет активный образ жизни», а на групповом фото с классом вырезала у себя половину лица: «Очень может быть, прооперированный портрет иллюстрирует судьбу Галины Борисовны, и никакие многочисленные её последующие изображения не могут поспорить с ним в выразительности. Здесь и внимание к себе, и неприятие себя. Желание совершенствоваться даже путём резких вмешательств. Через прорезанное отверстие видны и Татры, и Карпаты, и Хибины, и Кавказ, видны байдарки с палатками, санатории с турбазами, мужчины и дети, цветы и платья, принятие себя и отторжение, мантра “папочка обязательно вернётся” и посмертное расследование его судьбы, вечный поиск отца — и вечный покой».

Написано прямо-таки красиво: изяшно, остро, эссеистично. В нескольких словах схвачена вся судьба — и создан образ. Не персонаж хроники, не коллаж из фактов — а именно образ: лично понятый, картинно отраженный в яркой детали.

Но в том и дело, что такие пассажи появляются в книге на правах исключений из правила. А правилу Александр Снегирёв следует. Придерживается фактов. Нарочно не идет в сторону образности. Излагает последовательно.

А потом и, как говорилось выше, самоустраняется.

Вторая часть книги — расшифрованная и разбитая на микрорассказы прямая речь Ксении Константиновны Рунич. След Снегирёва здесь виден прежде всего в композиции и в том, например, как трогательно и одновременно ловко завершает он исповедь о большой жизни, в которой были и трудное, голодное детство в эвакуации, и гибель родных в блокадном Ленинграде, и неудачный по юности брак, — рассказом «Редкие цветы». Пережив многое с Ксенией Константиновной, мы так и видим её: с образом маленьких цветов вишнёвого цвета на поле ржи или пшеницы — она запомнила их по играм в детстве, но «не увидела после войны нигде».

Наконец, третья часть занимает почти половину книги и представляет собой воспоминания Фёдора Ивановича Терехова, родившегося в начале прошлого века, прошедшего и Гражданскую, и Великую Отечественную войну, инженера, поставленного управлять заводом, но не выигравшего в борьбе с коррупцией. Тут Александр Снегирёв отступает совсем уж подчеркнуто. Это уже не переработка прямой речи в текст. Это непосредственно текст — чужой, не профессиональный, но содержащий в себе что-то такое, что писателю Снегирёву важно показать лицом.

«Кажется, Снегирёва он покоряет минимумом рефлексии при максимуме информации, которую из его кратких и суховатых записок удастся извлечь», — пишет в наблюдательном и точном в выводах предисловии критик Елена Погорелая.

Извлечь из воспоминаний Фёдора Ивановича Терехова можно в самом деле многое. Прежде всего это личная история войны, покоряющая воображение именно тем, как соединяются в ней известные по литературе и кино сюжеты риска и выживания, доблести и предательства — с достоверностью конкретного, именного свидетельства.

Фёдор Иванович Терехов излагает просто, но ладно, не желает поразить — но не скрывает чувств. Постоянный спутник его на войне — угроза очередного сердечного приступа. Накануне сороковых годов его по состоянию здоровья оставили в резерве, но «началась война, и я был призван как строевой офицер-артиллерист и три года провоевал на командных должностях как строевой офицер».

Неполадки с сердцем становятся символом скрытого нечеловеческого напряжения всех чувств и сил в обстановке, о которой, даже предугадывая наперед, что будет написано, читать тяжело. Замерзшие дети, побежавшие вслед за угнанными в плен родителями, дикий рев тонущих лошадей, осколок в сантиметре от глаза, прощальный взгляд дочери, второй раз провожающей отца на фронт: «Очень тяжёлым расставанием было прощание с дочерью. Ей тогда было восемь лет, её выражение глаз очень долго преследовало меня».

И в целом вся книга «По линии матери» — это мучительное, но бесценное извлечение памяти. Такие книги нужны читателю. И в отношении читателя как раз не возникает вопроса, зачем ему погружаться в хронику чужой семьи, зачем читать воспоминания не своего прадеда.

Затем, что набившие оскомину повествования в жанре семейной саги на фоне века, как и невыдуманные семейные хроники, ведут всенародную психологическую реабилитацию. Помогают говорить о том, что нас всех вместе ужасает — и на что мы можем опереться благодаря только тому факту, что родились в одной стране. Помогают почувствовать неслучайность нашего появления — а значит, осмысленность

и ответственность нашей жизни в пресловутом «здесь и сейчас», в котором можно не думать о прошлом, но которого без прошлого не бывает.

Благодаря книге «По линии матери» мы проходим предсказуемым путем — «крутым маршрутом», с которого не свильнуть. Горюем над безвременной смертью, сокрушаемся о несправедном обвинении, печально улыбаемся миновавшему, но как будто вечно что-то обещающему нам с чужих фотографий детству. Замираем в точках рокового жизненного выбора — который, мы знаем, уже точно не переиграть.

Незнакомый нам, но породнившийся с нами через эту книгу Митя — демиург памяти. Тот, кто побудил этот космос судеб собраться под одной обложкой.

Читатель — выгодоприобретатель. Поселенец собранного мира памяти.

И — слушатель. «Нам удалось собрать оркестр — оркестр покойников», — предлагает Снегирёв по-снегирёвски яркую метафору. И в прологе называет Митю «дирижёром».

Но кто он сам — человек, чьё имя указано на обложке?

Пожалуй, ближе всего к его роли в этой книге, в виду собранного оркестра — положение критика.

Снегирёв — писатель в роли критика.

Тот, кто не просто слушает — а слышит: как это звучит, как воспринимается?

И именно для того, чтобы лучше расслышать, он и устраняется.

Минимизирует личное звучание. Наступает на писательское эго. Не показывает себя за дирижёрским пультом. Скрывается от сцены и чутко обзорекает не только звучащий оркестр — но и внимающий зал.

Интерес к истории, её сюжетным поворотам и человеческим судьбам в книге очевиден.

Не сразу замечаешь другой принципиальный интерес: к слову.

Недаром Елена Погорелая — критик, пишущий о поэзии, и сама поэт — высоко оценила «блестящий метаприем — и блестящий верлибр»: из выбранных строк чужих писем Александр Снегирёв составляет текст «в столбик» — текст с особенными, поэтическими акцентами и связью между словами.

К этому приему он прибегает в книге не раз. Но у меня впечатление, что не только задокументированные в письмах словесные обороты — а и самые факты прошлого он читает поэтически.

Это грозная красота общей жизни, соединяющая людей через границы личности и семьи. «Такое родство, когда интимное и планетарное выплавляются в стройную фигуру, сиюминутное оказывается вечным, горе и страдания преобразуются в оттенки гармонии непостижимого бытия, а бесконечная чернота Вселенной больше не кажется негостеприимной», — заключает Александр Снегирёв книгу не своих воспоминаний — своими словами.

Чтобы передать это родство, писатель может занять место бога. Попытаться разместить многообразие жизни на ладони романа. Стать больше себя.

А может стать себя меньше. Занять по отношению к жизни позицию внимающего. Поместить себя внутрь многообразия и помочь нам его разглядеть и расслышать.

«Жизнь — это литература», — пишет Снегирёв в послесловии. Но литературу из чужих воспоминаний делать отказывается: «никаких дополнений или исправлений, искажающих оригинальный текст, не внесено».

Не искази — заповедь писателя, который помогает нам разглядеть и расслышать красоту и смысл доподлинно прожитой жизни.

*Александр Чанцев*

## Новая аристократия

*Первая рубрика нового года лишь внешне обсуждает вопрос антикапитализма. Разговор о революционной молодежи (работа Герберта Маркузе), элите (эссе Герда-Клауса Кальтенбруннера), восприятию техники (монография Александра Михайловского) и самой истории (книга Шарля Пегги, которого многие считали сумасшедшим, а кто-то, включая Делёза и Фуко, скрытым гением) во многом рифмуется, перекликается и довольно скоро выходит на совершенно иной уровень. На тему необходимости менять не какие-то частности и даже важности, а радикально перестраивать весь экзистенциальный строй мира. Для чего оказываются так нужны новые люди с совсем другими идеями. Новая элита, если хотите.*

Трудовое общество достижений — это не свободное общество. Оно производит новые типы принуждения. Диалектика господина и раба в итоге приводит не к тому обществу, в котором каждый свободен и способен на досуг. Скорее оно приводит к трудовому обществу, в котором господин сам стал трудящимся рабом. В этом обществе принуждения каждый располагает собственным трудовым лагерем. Этот трудовой лагерь примечателен тем, что в нем заключённые одновременно являются надзирателями, а жертвы — хищниками. В нем эксплуатируют самого себя.

*Хан Бён-Чхоль, «Общество усталости»*

Мы — это горстка просвещенных людей, мистических творцов, которые призваны посеять в мире семена новой силы, что прорастет всходами отчаянных дерзаний и яростных озарений.

*Габриэле Д'Аннунцио*

### *Прямая история, окольная благодать вопреки и вечно обновляемое сердце*

**Шарль ПЕГИ. Клио. Диалог истории и языческой души / Пер. с фр. О.Акимовой—М.: Ад Маргинем Пресс, 2025. 304 с.**

Кем был Шарль Пегги (1873—1914), даже отчасти издававшийся у нас раньше (хотя, разумеется, не в полных объемах многого им написанного), сказать так сходу даже несколько затруднительно. Страстный публицист, необычный поэт, тот визионер, что необычен всегда? В послесловии к книге проживающий в Японии исследователь

современной французской философии Евгений Блинов<sup>1</sup> занимается реконструкцией этого необычного персонажа и конденсационного следа, оставленного им в ноосфере.

Широко заметили Пеги, как водится, после смерти, благо (или зло) она была героической: повел солдат в атаку на немцев, пулемету кланяться не захотел, пулю в чело получил. Кроме личного мужества, этот акт как-то укладывался, возможно, в генеральную мысль «Клио». Которая, в свою очередь, перпендикулярна всей историософии нового времени, несмотря на декларируемые изменения: история модерна<sup>2</sup> представляет собой не линейный процесс, а череду разрывов, те самые революции, реформы и прочие «до основания и затем». Тогда как для Пеги это было именно глубоко прочувствованное и осознанное единство. Пока такая ремарка, потом мы к этой мысли вернемся.

Пеги и в целом был глубоко перпендикулярен современности и её установкам — при том, что отнюдь не сидел безвылазно в башне из слоновой кости за окнами, слоновыми бивнями зарешеченными. Был он даже не публицистом, а скорее блогером в современном смысле. Сын рано скончавшегося столяра, получивший отличное образование, но проваливший экзамен на право преподавать (ляпнул что-то не то из своих взглядов?), он пытался запустить то издательство, то журнал. Оный журнал и действовал во многом за счет его откликов, а существовал на подписку — прямо система постов за донаты от известного инфлюэнсера. Но инфлюэнсером он был не очень влиятельным, говорил, невзирая на авторитеты и повестку, что думал. А думал он очень оригинальное. И всегда против модерна — то с ранних позиций социалиста, то с поздних — католического мистика<sup>3</sup>. Впрочем, и в эти рамки он влезал с трудом. Так, будучи формально правым, осуждал монархию, чем фраппировал и отпугивал сторонников (и подписчиков). Был одним из самых ярких защитников Альфреда Дрейфуса, в общем, молчать никак был не склонен.

Таково было и его письмо. Что масштабные поэмы вроде «Кантос» Паунда, что его философская лирика, по сравнению с которой, по меткому замечанию Блинова, книги Ницше выглядят образцом академических сочинений. «Его эклектичная проза с массой самоповторов, риторических отступлений и воображаемых диалогов не вписывалась ни в один существующий формат. Бруно Латур позднее напишет, что эта проза была буквально “нечитаемой”». За Пеги закрепилась репутация эксцентрика, едва ли не городского сумасшедшего. Но именно это привлечет к нему новых будущих читателей, которые увидят в нем блестящего стилиста, предшественника философского и литературного авангарда XX века». Авангард всё же вряд ли, целеполагания там различаются, а кто-то увидел и оценил ещё при жизни или незадолго после. Бергсон, любимым учеником которого Пеги был, Фуко и Делёз, которые, как шпионы паролем на законспирированной встрече, обменялись его именем.

«Автор, сформировавший мировоззрение Шарля де Голля, который сегодня почитается патриотами и католиками, или “сумасшедший”, на которого любят ссылаться представители левого философского авангарда? Социалист и дрейфузар, ставший католическим мистиком, патриот-республиканец, обратившийся к истории Жанны д'Арк, ученик Бергсона, писавший инвективы против модерна». Как говорится, кто же он, месье, а посмертно и монсеньер Пеги? Был он, ретроспективно смотря и задним умом укрепясь, тем одиноким мыслителем, над которым смеются, но кто повлиял на некоторых тех, над кем смеются уже в меньшей степени. Такое, впрочем, тоже часто бывает.

Что же касается стиля Пеги, то что далеко ходить, вот самое первое предложение: «Этот труд, сказала она озабоченно (как бы) сама себе, но обращаясь при этом ко мне; что-то внутренне обдумывая; пережевывая слова своими дряхлыми историческими зубами; бурча; бормоча; бубня; приняв вдруг серьезный и озабоченный вид, как бы в насмешку, сдвинув брови и наморщив лоб, этот труд я совершила сама». Написан он от лица самой Клио, обращен зачастую к Пеги, а иных странностей тоже хватает. Так, Пеги пишет то философию истории и всего прочего в духе Ницше, Шпенглера, Штирнера и всех тех, кто ее писал, то вдруг бросается на многих страницах разбирать какой-то штришок в образе Гюго или вообще особенность рифмовки стихов. «История по сути своей горизонтальна, а память по сути своей вертикальна. История в основном занимается тем, что идет вдоль события. Память же, находясь внутри события, в основном старается не выйти за его пределы, остаться в нем и подниматься к истоку внутри него. Память с историей образуют прямой угол. История параллельна событию, память занимает в нем центральное и осевое место». Прочсть всё это в совокупности — отдельное удовольствие, и тут я не лыщу, стиль Пеги очень легкий и игривый, чувствуется прямо, что сочинял он быстро и страстно. И сочинял поэтизированную прозу более, чем философский труд: «И вот пришла к нему смерть, та горничная, что в последний раз наводит порядок»<sup>4</sup>. Впрочем, именно так философские труды и нужно сочинять. Мы же — интересующие нас темы.

Не делая это своей магистральной темой и точно не фиксируясь на данной проблематике как пунктике, громит модерн Пеги метко, прямо обрубаёт гусарской саблей его щупальца, этакий Денис Давыдов из батальона антимодерна. «Варварство модерна» уродует всё, до чего дотянуться может: «Я, история, истинно говорю вам: подлинный скандал; а стало быть, тайна; величайшая тайна временного творения — в том, что (величайшие) произведения гения оказываются отданы на откуп зверью (нам с вами, господа и дорогие сограждане); в том, что ради этой временной вечности их постоянно передают, роняют, отдают, бросают в такие руки, такие ничтожные руки — как наши». Это не просто досадные, хоть и системные, упущения; нет, это укладывается в ту общую логику, где потеря и утрата становятся важнее обретения. Такова ли логика пресловутого исторического процесса, но «никакие завершения, увенчания, приращения, наращивания не могут быть стойкими, навеки устоявшимися, бесповоротно устойчивыми. И напротив, ухудшения, утраты, умаления могут быть или стать устоявшимися, могут быть укоренившимися, устоявшимися, вечными, вечными во времени, устойчивыми, бесповоротными. В этом и есть закон, правило, манера действия временного механизма». Чего же, впрочем, ждать, если, будто перефразируя известный девиз Кроули о веке беззакония, Пеги формулирует неправильность и враждебность всего мирового хода: «Причем это в порядке вещей. Историческое событие, история всегда несправедлива, — уж кому как не мне, истории, это знать. И к тому же жестока».

Модерн же в его современных (современных Пеги, да и нам) импликациях особенно пагубен. Все устремления и достижения человечества были, как оказалось, ради совершенно убогого «достижения» — капитализма, которому модерн и оказывается синонимичен до неразличения: «...Некое глубокое и далеко идущее средство, доходящее до неведомого нам предела, между модерном, то есть миром модерна, и буржуазным капитализмом, — между самой манерой, самим подходом мира модерна». Обличать же капитализм нужды нет, это и так очевидно<sup>5</sup>, и этим займется наш следующий спикер

Маркузе. Но зададимся вопросом. Если вся великая история человечества привела к столь жалкому выхлопу, то, возможно, скажу уж для себя, экстраполируя чуть дальше мысль Пеги, это лишь временная трудность, жертва ради будущего, трудная ступень прогресса? А вот самую идею прогресса Пеги отвергает радикально жестко, с самого порога. Чем, задается он вопросом, приводя в пример цикл «Кувшинки» Моне из примерно 250 работ, кувшинка № 45 (на 45-й странице этого издания!) лучше картины № 1 или № 2? Тем, что мы априорно предполагаем, что с опытом/временем что-то накапливается. А если убрать эту на(в)думанную установку? И, скажем, предположить, что первая версия была результатом Божественного откровения, а последующие — автоматизированной механики? Сам прогресс, продолжает он, — это такая стремянка, бесконечно ведущая неизвестно куда. Прогресс — это то вложение в будущее, которое никогда не окупится, режим наследования в пустоту будущего, а отнюдь не в наше сейчас. Распевая гимны прогрессу, нас развели на мошенническую инвестицию, купили ваучеры за сто рублей, как в годы «первоначального накопления капитала», капитала отнюдь не нашего, а отчужденного во имя тех, кто затем построил на этих деньгах заведомо враждебное для людей общество. И люди пали «...перед наплывом новых инстинктов, инстинктов приобретенных, современных, инстинктов интеллектуальных, перед наплывом грязных инстинктов — великих триумфаторов модерна: перед бережливостью и накопительством, жадностью, скарденностью, расчетами и расчетливостью, стремлением к наживе, черствостью, корыстью и барышами; перед сберегательной кассой и табачной конторой (в подобных конторах тогда собирали налоги. — А. Ч.)». Мысль эта оказывается крайне актуальной не только в исторической перспективе, ибо, мы видим, она стала определяющей для современности. Еженедельные обновления для смартфонов симуляцией новизны, большей комфортабельности и общего улучшения прикрывают всё ту же самую пустоту.

Но, в конце концов, современность столь отвратительна, что вызывает критику многих, из разных лагерей. Пеги в данном случае интересен ещё и тем, что придает ей онтологический характер, рассматривает с метафизического ракурса. «Нынешнее, вызывающее поколение видит себя одиноким человеком на линии огня». Как мы можем наблюдать вместе с Пеги, он докапывается до человеческих причин его нынешней бытийной неудачи, задается вопросами, можно сказать, о личных причинах краха проекта под именем «современный человек». «Удел человека столь жалок, столь очевидно жалок, что заставляет его искать опоры в тех, кто едва ли прочнее его самого, ведь они такие же, как он; сколь очевидна и сколь постыдна его немощность; сколько неловкости в его гордыне, сколько в ней безоружности; сколько неуклюжести во всём — вот отчего, сказала она, нам не хватает духу на него сердиться».

Человек слаб, поэтому ищет опоры на таких же слабых — порочный круг замкнулся, посему нужен радикально иной выход из лабиринта. Но лабиринт ли это? Зачем вообще нужны какие-то иные геометрические конструкции — вроде той бесконечной лестницы прогресса, сиречь бесконечного тупика, — если есть изначально прямая и ясная линия? От которой лишь отклонились. «Это нынешнее поколение видит себя, хочет видеть себя в фокусе взглядов, в фокусе мнений, суждений бесчисленных поколений, чье количество бесконечно растёт. Всех последующих поколений, которые из века в век, из поколения в поколение становятся всё многочисленнее. Христианин же видит себя иначе, сказала она. Он, напротив, видит

себя скорее в фокусе многочисленных, но не бесчисленных предшествующих поколений (по крайней мере, начиная с Иисуса)». И здесь мы возвращаемся к той самой надутый негодным пониманием идее прогресса. Нынешние поколения одержимы оценкой современников и некой похвалой от абстрактного, гипотетического будущего (а при подобном настоящем будущего очень легко может и не быть). То есть фиксированы на том, чего нет. Но есть линия иной реальности. «Но я-то знаю, что есть совершенно другое время, что событие, реальность, органический мир живет в совершенно другом времени, в другой длительности, в другом ритме длительности, сам создает длительность, причем реальную, сам создается некоей — реальной — длительностью, которую следует называть длительностью Бергсона, поскольку именно он открыл этот новый мир, мир вечный». Эта линия даже не предков и наследства, а прошлого как поддержки, не череда постоянных разрывов и уничтожения настоящего ради обещания похвалы и процентов из эфемерного будущего, но единая линия, в своей неделимости, своей непрерывностью сильная и гармоничная. Сильная той силой, что уравнивала (бы) все чреватости и пагубы современного мира. «Старый режим, сказала история, хотя бы не допустил такого злодеяния, как исключительная, безоговорочная власть, как полное господство денег. При нем ещё существовали духовные силы, которые уравнивали могущество денег. Вневременные силы ещё уравнивали силы временные<sup>6</sup>. И даже среди временных сил ещё были те, что уравнивали временное могущество денег. В мире же модерна, сказала история, оно даже не считается злодеянием. Это неумолимое, исчерпывающее всемогущество денег является самим воплощением, институтом, так сказать, самой субстанцией мира модерна».

Эта сила заложена в христианстве, которое и становится возможным ответом на вызовы и кризисы современности — да, то самое «новое, прежнее христианство». Зачеркнутое, оно имеет потенцию возвращаться. «Если возникает отчаяние, мой друг, значит, возвращается христианство. Особенно когда отчаяние столь сильно, столь глубоко». Более того, это «великое возвращение» заложено, прошито, подразумевается самой сотериологической логикой, устремленностью христианства. И тем, какой видит историю Пеги, — то есть, простите, видит повествовательница этой книги Клио самую себя. И говорит «с последней прямоотой». «Христианские добродетели питают нас так, что их сытная пища подкрепляет нас даже тогда, когда мы их искажаем. Христианские добродетели настолько чисты, что их тройная чистота не исчезает даже тогда, когда мы их искажаем. И настолько благи, что их благо проявляется и имеет ценность даже в самом их искажении. Источник виден и узнаваем даже в сточной трубе. Какая мне разница, сказала она с некоторым гневом, какая мне разница, что эти искажения суть проявления светскости. Быть может, Богу милее искаженная добродетель, чем полное ее отсутствие. Быть может, Богу милее добродетель в светском обличье, чем полное ее отсутствие. Да, люди модерна пожелали изгнать из самих себя, из своего общества, из своей семьи, из всего своего существа любую христианскую материю. Вероятно, мне это известно, сказала она, да и кому это знать, как не мне. Но мне также известно, сказала она, что благодать обманчива, что благодать хитра и непредсказуема. А еще — что она упряма, как женщина, настырна, как женщина, и, как женщина, неотвязна. Гони ее в дверь — она влезет в окно. Людей, которых хочет заполучить Господь, он получает. Народы, которые хочет заполучить Господь, он получает. Роды людские, которые хочет заполучить Господь, он получает. Род людской, который хотел заполучить Иисус, был дан Иисусу Божьей благодатью.

Когда благодать не приходит прямым путем, значит, приходит окольным». Хорошо, коли так.

А быть так может, потому что мысль здесь у Пеги не одинокая, есть у нее весьма мощный и уважаемый предшественник. С которым у Пеги в совокупности оказывается немало общего. Возьмем две обозначенные темы — «память vs история» и бергсоновскую «длительность». У Пеги эти две интуиции, разнящиеся, на первый взгляд, по регистрам, будучи поставленные в контекст западной традиции мышления о времени, сходятся, как мне видится, как раз в фигуре скрытого посредника — Блаженного Августина. Именно Августин склонен был различать (или различает — можно тут говорить в историческом настоящем) внешнее время событий и внутреннее время переживания, которое он называет *distentio animi* — растяжение души. Пеги в духе Августина противопоставляет историю — как внешнюю линию фактов (параллель к событию) — и память — как осевую форму присутствия события. История — дискурс, память — длительность события в душе: это почти прямая вариация августиновской мысли, что истинное событие продолжается в памяти, а не в хронологии. «Другое время» же у Пеги — это бергсоновское *durée géelle*, неизмеряемое время, живая органическая непрерывность внутреннего становления. Августин, по мнению Бергсона, был первым, кто открыл время как внутреннюю длительность, и Пеги изяшно объединяет две традиции: в полемике с «историей» он говорит по-августиновски, а в описании живой длительности — по бергсоновски. И «новое прежнее христианство» также имеет здесь внутреннюю рифму, поскольку это почти августиновское *semper reformanda*, постоянно обновляемое сердце. Августин постоянно говорит о всегда новом христианстве *semper nova verba Dei* и, одновременно, о возвращении к извечному (*pristina*). Так и Пеги превращает христианство в событие, продолжающее себя в длительности памяти, и это глубоко августиновская схема вкупе с непрямыми путями.

### *Техника для человека и человек для техники*

**Александр МИХАЙЛОВСКИЙ. Маятник модерна: дискуссии о технике в Германии. — М.: Академический проект, 2024. 495 с.**

Александр Михайловский, доктор философских наук, переводчик с немецкого, специалист по Юнгеру, Хайдеггеру и Бибихину, берет ту как бы узкую тему, что позволяет поговорить об очень многих идейных выкладках прошлого века. И дело даже не в хронологии — «рассматриваемый период (если учитывать только предметно разбираемые сочинения) охватывает шесть десятилетий — от 1900-х до 1960-х годов включительно». Но и в том, что вопрос техники позволяет высветить: «На смену широко распространенному и, признаем, достаточно примитивному тезису о “нейтральном средстве” пришел целый комплекс дискурсов о технике и власти (“технократия”), технике и природе (“энвайронментализм”), наконец, о технике как сущности *sui generis* (“демонизм техники”)».

Поэтому — и не только поэтому — разговор об этой книге логически может продолжить и добавить к нашим размышлениям о Пеги. Ведь «в становлении темпорального режима модерна это имеет такие следствия: “хронологическое

расстояние” до прошлого уменьшается, при этом прошлое стремительно устаревает и становится чужим и непонятным, соответственно, будущее становится всё более непредсказуемым. “Схлопывание настоящего” и есть выражение этой трансформации». История, как поется в песне U2, moves in mysterious ways. Но есть на её пути и идентифицируемые чуткими умами враги — так, разбираемый в книге Людвиг Клагес осуждает капитализм так же, как и Пеги: «Настоящей причиной разрушения жизни является капитализм, поскольку “на его службе находится вся техника, а на службе техники опять-таки находятся все сферы науки”».

Там, где явлены размышления о технике, невозможно обойтись и без критической рефлексии о ней самой и о причинах её порождения и повсеместного, всё более довлеющего над человеком использования. Посему важным аспектом книги становится такое понятие, как культуркритика. «Культуркритика — это философская позиция, рассматривающая культуру как форму искажения, симуляции, отчуждения, дегенерации и деградации истинных способов бытия. Критика культуры возникает как теория осмысления исторической ситуации, в которой оказалось общество в начале XX века». И не только, заметим, оглянувшись, тогда. Ведь культуркритика как подход работает там, где философия запаздывает. В те переходные моменты, когда старые категории ещё функционируют, но уже не очень объясняют происходящее, и так остро ощущается необходимость в выработке нового категориального аппарата.

Впрочем, что очевидно даже при стороннем взгляде, техника и породивший её сциентистский, материалистический подход вызывали в разные времена и у разных идейных и политических актантов то разочарование, то полный восторг. И для этих скачков осциллографа Михайловский вводит вынесенное в название понятие маятника. «Основная гипотеза исследования заключается в том, что технократия и экологизм образуют два полюса, напряжение на которых определяет развитие дискуссий о технике в Германии. Вместе с тем они хорошо подходят для иллюстрации общего тезиса о маятниковом движении модерна. Критика техники у представителей так называемой “философии жизни” — Л.Клагеса, Т.Лессинга, Г.Зиммеля, В.Зомбрата и др. — берется условно в качестве первого взмаха маятника, связанного с компенсацией последствий индустриальной революции. Вместе с ней на смену характерным для философии и науки конца XIX века тенденциям позитивизма, сциентизма, секуляризма, гносеологизма, номинализма, нормативизма и прочих форм новоевропейского рационализма приходит реабилитация психологии, волюнтаризма, дорефлексивных элементов сознания, восстановление в правах религиозного и сомнологического мировидения, одним словом, всё то, что в дальтонической оптике — будь то марксистской, будь то либерально-демократической идеологии — дискредитируется путем навешивания ярлыка “иррационализма” или “антидемократизма”».

Во многом не только критика технического и идеализирование его находится в сфере мысли деятелей консервативной революции. И здесь автор предлагает вдумчивое и глубокое толкование этих процессов. «...Технократические идеи в период между двух мировых войн в Германии главным образом провозглашались сторонниками правых политических взглядов. Значительная часть представителей так называемой “консервативной революции” (различных групп праворадикальных интеллектуалов, которые без сожаления расстались с мечтой о возвращении в Германский рейх вильгельмовского образца и разрабатывали идеологию современного авторитарного государства, апеллируя к опыту Великой войны) были убеждены, что Германия может

возродиться как могущественная нация только в том случае, если примет экономический и технический императив без оговорок. Артур Мёллер ван ден Брук в книге «Третий рейх» (1923) предлагал инкорпорировать современную промышленность и экономику в немецкий или «пруссский» социализм; выдающийся специалист в области публичного права Карл Шмитт надеялся на приход политической силы, способной продуктивно использовать технологии; Фердинанд Фридрих Циммерманн, он же Фердинанд Фрид, редактор экономического раздела «Die Tat» (пожалуй, самого популярного журнала младоконсерваторов), не скрывал своей идейной зависимости от публикаций Вальтера Ратенау и требовал ведения национальной экономики. Но вряд ли мы бы сейчас вспоминали консервативных революционеров столь часто, если бы всё было так однозначно. Показателен тут Шпенглер, который, с одной стороны, призывал молодых фронтовиков посвятить свою жизнь «технике вместо поэзии» и «военно-морскому флоту вместо живописи». С другой же, «для его воззрений характерен некий диссонанс между ориентацией на традиционные ценности и пониманием невозможности их реального осуществления. Он обогатил критику современной эпохи новой позицией, не сводимой ни к чисто революционному, ни к чисто реакционному умонастроению, ни к прагматической ориентации на сохранение либерально-демократического статус-кво», — позицией «героического реализма». И здесь можно сказать, что и главные немецкие философы XX века — да и главные герои Михайловского — Хайдеггер и Юнгер, начав с «техники вместо поэзии», мигрировали затем в течение жизни в своих взглядах скорее к «поэзии против техники». И если «в лице Хайдеггера происходило возвращение немецкой философии к культуркритицизму, который оказался наиболее востребованной формой (как правого, так и левого) дискурса о модерне после угасания технократического всплеска к началу Второй мировой войны»<sup>7</sup>, то случай Юнгера ещё более показателен. Юнгер, условно квалифицировавший свои ранние и поздние сочинения как Ветхий и Новый Завет, а корректировку со временем собственных взглядов описывавший как «я не изменяю себе, а двигаюсь сквозь различные слои истины», начинал с безусловного воспевания технического прогресса во времена своих программных книг «Рабочий» и «Тотальная мобилизация». «Эта интуиция получила блестящее завершение в «Рабочем» (1932) Эрнста Юнгера, который распознал в «тотальной мобилизации» силу, направленную против буржуазного мира и расчищающую пространство для новой иерархии ценностей. «Тотальную мобилизацию осуществляют не люди, скорее она осуществляется сама; в военное и мирное время она является выражением скрытого и повелительного требования, которому подчиняет нас жизнь в эпоху масс и машин». Фронтовик и теоретик «нового национализма» описывает современность как техническую революцию, набрасывает футуристические черты «мира работы» в планетарном масштабе и предсказывает господство метафизического «гештальта Рабочего», чьим способом действия и бытия-в-мире как раз и служит «тотальная мобилизация»». И если о полной перекраске его взглядов к концу жизни говорить всё же нельзя, то о значительной трансформации — справедливо. Ко времени книг «У стены времени» и «Ножницы» Юнгер настолько пересмотрел свои взгляды, что в антитезе техника vs поэт был готов ставить на интуитивные, естественные, даже примордиальные в чем-то знания и потенции. А тотальная мобилизация сводилась уже зачастую к одиночному путнику, ушедшему в лес. В этом случае символично, что действительно масштабная по охвату книга Михайловского вместо тех формальных

выводов, которые так утомляют в научных монографиях, останавливает свой «Маятник авангарда» на разговоре об «изменении перспективы» — именно в связи с поздними взглядами Юнгера.

И если разговор об этом, как и о «другом начале» Хайдеггера (и Библихина ещё) — возможная тема, пофантазируем, последующих книг автора, то скорректировать дефиницию самого модерна и возлагаемых на него консервативными революционерами и другими мыслителями рассматриваемой перспективы ожиданий уже можно и пора. «Наряду с концепциями техники различных немецких мыслителей преимущественно консервативной ориентации предмет пристального рассмотрения должны стать проекты “иного” модерна накануне и между двух мировых войн, послевоенные концепции “завершенного модерна”, в которых предвосхищается проблематика конца истории (задолго до либерального варианта Ф.Фукуямы) и звучит тема экологической катастрофы, и наконец альтернативная “духовная история техники”, ставшая под вопрос классическую дихотомию материи и духа».

И, напоследок, заметим то очевидное, что тем не менее стоит и проговорить — вся подобная рефлексия отнюдь не является исключительной прерогативой сухих научных штудий, нет, она становится ещё актуальнее по мере того, как техника неуклонно инкорпорируется не только в нашу жизнь, но в человеческое «я». Так, еще в «Философии денег» (1900) «Зиммель развивает гипотезу, согласно которой технические средства в ходе своего развития поглощают всё больше душевных сил. Опасность заключается в том, что технический инструментарий может превратиться в самостоятельную сущность. Человек продолжает поддерживать работу машины, но уже не знает, с какой целью он это делает; техника же овладевает его душой и заставляет его служить себе. Так средство из раба становится господином своего господина». Вспомним нынешний алармизм — алармизм ли? — как минимум по поводу того, к какому brainrot, разложению человеческого интеллекта может в ближайшем будущем привести повсеместное использование ИИ в работе и быту и все возрастающая зависимость от него... Рецепты? Только смутные предчувствия. Как рассуждал уже более близкий к нам философ Арнольд Гелен (1904—1976), «отныне человек, прежде вынужденный приспособляться к жизни в мире естественном, должен делать это и в искусственном, созданном им же самим мире. Если ранее ему приходилось обращаться к внешнему миру из себя самого для сохранения собственной жизни, то теперь для выживания ему приходится возвращаться обратно к себе, так как во внешнем мире вновь для него нет места. Можно сказать, что с господством техники человек оказывается ещё более недостаточным существом, чем он был прежде. Отныне он ущербен и по отношению к природе, и по отношению к выработанной им технике». И это ещё безотносительно вопросов интериоризации технического в человеческое, подмены его, а, если вспомнить проблему трансгуманизма, так и постепенного замещения.

Из-за всего этого разговор требуется в книге детальный, включает в себя области знания редкие (взгляды так называемых философствующих инженеров в годы Веймарской республики и Третьего рейха, подготовка Юнгером фотоальбомов на темы войны и технизации современности, а также критика оных изданий Беньямином) и неожиданные. Например, сторонний, не погруженный в проблематику взгляд предположил бы, что нацистские деятели проводили исключительно технократическую политику: переориентация государства на милитарные нужды, Шпеер, «чудо-оружие» и пр.

Однако же, часто проводимая политика была энвайронменталистского, «зелёного» толка. Здесь и деятельность Вальтера Дарре, министра продовольствия и сельского хозяйства, и заместителя Гитлера Рудольфа Гесса, убежденного последователя Рудольфа Штейнера, и наделение понятия «почвы» из печально известной двойчатки Blut und Boden именно «почвенным, земельным» значением, и попытки создавать «типично германские» пейзажи за счет зелёных насаждений как минимум около дорог...

Штейнера в качестве первого эколога, замечу, выделяет в своей совсем свежей книге<sup>8</sup> такой исследователь традиционализма, как Марк Сэджвик. Но «первых», разумеется, было много. И если с «последними» — из крупных и на слуху это Гюнтер Андерс (1902—1992), один из основателей Франкфуртской школы, чья книга «Устарелость человека» предвосхитила некоторые темы «Одномерного человека» Маркузе, а экологические идеи коренились во многом в неоконсервативном идейном поле, — разговором о которых ограничено данное исследование, проще, то с первыми сложнее.

Сами плюсы служения техники человеку (освобождение его ради более высоких целей) и минусы служения человека технике (чуждость технического этике возможность использования в любых целях<sup>9</sup> и т.п.) волновали мыслящих людей очень давно. Уже Руссо, в векторе провозглашаемого им естественного человека, выступал в целом против технического. Маркса — который, как остроумно констатирует Михайловский, мануфактуры-то ни разу в жизни посетить не удосужился, — также можно прочесть как выступавшего против техники, в духе его критики капитализма. Ницше — хотя и не посвятил данному вопросу многих страниц, но предвидел многое и здесь: в «По ту сторону добра и зла» он отмечал «уравнение людей и приведение их к уровню посредственности» и «машинные добродетели».

Настоящую же и пламенную критику техники, вернее, проповедь того, что значительно позже стало экологическим движением, можно отметить у Клагеса. И я сейчас привожу примеры технофобов не только в силу собственных симпатий, но и потому, что они более нюансированы, интересны и нонконформны на фоне всё же одновекторных в массе своей призывов создать сильное государство за счет технологической революции и прочего в том же духе. Один же из главных доводов о том, что технический прогресс высвободит время людей для более креативных занятий, упирается до сих пор в то, что люди как-то не особо ими занимаются, склонны, наоборот, к занятиям даже деструктивным... Клагес в своей культуркритике был изначально глубинно настроен против искажений модерна — «нет сомнений в том, что мы живем в эпоху падения души»: «Никакое учение не возвратит то, что было когда-то утрачено. Помочь может только внутренний поворот к жизни, но инициировать его человеку не под силу». Он выступал против большинства движущих современностью парадигм, претензии имел даже к христианству. Он обвинял христианские народы в пассионарности: «Только у этих народов одно изобретение следовало за другим, процветала точная или вычислительная наука, и безжалостно поощрялось стремление к экспансии, имевшей целью поработить нехристианские народы и разрушить всю природу». Природа разрушена, а нехристианские народы уже сами желают повторить путь народов западных, видя (или, скорее, отказываясь видеть) плачевные итоги их

устремлений, по Клагесу, «оргии опустошения»... Манифест Клагеса «Человек и Земля» 1913 года был подхвачен современными экологами и переиздается. Не будет ошибкой сказать, что сейчас он актуальнее, чем тогда.

Более сдержан, терпим был Ратенау, промышленник, политик и публичный интеллектуал. «Подобно многим другим он считал, что наивная вера в безраздельное господство просвещенного разума подошла к концу. Однако из скепсиса по поводу значимости традиционных форм и связей у него вытекал не пессимизм, а творческая вера в “живой дух” и “новые идеи”». Не за это ли ещё его в итоге и убили?

Ещё одним непримиримым борцом с технократией выступал младший брат Эрнста Юнгера Фридрих Георг. Констатируя — уже очевидные в наше время — импликации технического вроде того, что, как суммирует Михайловский, «капитализм обещает свободу денег и свободу передвижений, но она оборачивается рабством», Юнгер в «Совершенстве техники» приходил в итоге к тем же выводам, что и Клагес. Он призывал к новому (забытому старому?) отношению к Земле: «Нам предстоит заново научиться тому, как относиться к ней как к матери. Тогда мы будем процветать на ней». Мы же выбрали успех в краткосрочной перспективе — процветание вопреки.

И здесь, не перечисляя всех многочисленных персонажей этой густонаселенной книги и их безусловно интересные мысли, вернемся к самому началу. К той коррекции устремлений модерна, что формулирует Александр Михайловский. «...Мы обнаруживаем, что за компенсаторными тенденциями, обращенными главным образом к прошлому и проявляющимися в форме цивилизационной критики, экологизма и технопессимизма, наступает футуристически ориентированная, технооптимистическая фаза, но при этом — что особенно примечательно — сохраняющая выработанный иммунитет по отношению к соблазнам прогрессизма». Это и становится, можно было бы обобщить, ключевым вопросом условно «правой критики» модерна и одним из вызовов современности: как сохранить то, что мы считаем основополагающим для нашей культурной идентичности и при этом усвоить технику. Действительно, как бы это осуществить.

### *В соответствии с законом свободы*

**Герберт МАРКУЗЕ. Когда умрет капитализм? Контрреволюция и бунт / Пер. с англ. Э.Китайцевой, М.Нигматулина, А.Юдина. — М.: Родина, 2024. 420 с.**

Для соблюдения справедливости мы дадим выступить не только мыслителям консервативной революции и примкнувшему к ним сейчас по нашему произволу Пеги, то есть скорее правым, но и лидирующему мыслителю левого направления Маркузе, ключевой фигуре Франкфуртской школы и «новых левых», с его работой «Когда умрёт капитализм?» (1972 г.)<sup>10</sup>.

Маркузе берет быка за рога сразу и с разбега. Капитализм он громит беспощадно. «...Установленная система сохраняет себя только за счет глобального уничтожения ресурсов, природы, человеческой жизни, и преобладают объективные условия для ее прекращения». Тот труд, да и образ жизни, что навязывает нынешняя система, лишен

смысла: «Разве нельзя зарабатывать на жизнь без этого глупого, изнурительного, бесконечного труда — жить с меньшим количеством отходов, меньшим количеством гаджетов и пластика, но с большим количеством времени и свободы!» (отметим современность того экологического пафоса, к которому неизменно приводят антикапиталистические выпады). Маркузе сокрушается и чаёт других установок: «Человеческий труд, вместо того чтобы быть товаром, производящим товары в соответствии с законом стоимости, мог бы производить для удовлетворения человеческих потребностей в соответствии с законом свободы». И, да, временами он даже догадывается, что дело не в самом капитализме, а в чем-то большем: «Это означает, что эта цель предполагает радикальное изменение потребностей и сознания людей. Люди, которые имеют власть освободить себя, не будут теми же людьми, которые сегодня воспроизводят статус-кво, даже если это те же люди». Присутствуют у Маркузе и видения тех, кто разрушит сложившуюся систему, — правда, неотчетливые, точно через мутное стекло: «Капитализм производит своих собственных могильщиков — но их лица могут отличаться от лиц несчастных на земле, от лиц страждущих и нуждающихся». Где звучит протест, установки на новое? В зонгах Бертольта Брехта и песнях Боба Дилана<sup>11</sup> — «музыка, в своем собственном развитии, доводит песню до точки восстания, где голос, в слове и высоте, останавливает мелодию, песню и превращается в протест, крик».

Красиво, нельзя не признать, и справедливо. Как все очевидное. И это, по сути, вся программа Маркузе, да, именно такая абстрактная и крайне общая.

Общая картина, впрочем, обладает своими плюсами — в силу её универсальности она имеет сходные до полного совпадения черты с современностью. Иллюстрируя тезис о том, что в крайних своих проявлениях капиталистическая система «практикует ужасы нацистского режима», он приводит в пример войны и убийства, развязанные в Азии и на Ближнем Востоке под предлогом борьбы с коммунистической угрозой. Сейчас практикуются ровно такие же войны и свержения неугодных режимов под предлогом борьбы с терроризмом. «Агония религиозных войн возрождается на пике западной цивилизации, а постоянный поток оружия из богатых стран в бедные...» — и религиозные войны ныне не утихли, и накачку Украины и Израиля западным оружием мы наблюдаем. В основе своей не изменилось ничего, только лишь Запад искусно научился ради своих целей воевать чужими руками и жизнями.

Что же происходит внутри капиталистических стран, что порождает все эти планетарные катастрофы и тотальную несправедливость? Конечно же, ничего хорошего. Капитал улавливает, вовлекает в свои сети все слои общества. При высоком развитии капиталистической модели наблюдается низкая революционность<sup>12</sup>. Контроль повсеместен и тотален «через политический, военный и полицейский аппарат ужасающей эффективности». Выхода нет.

То есть надежду Маркузе возлагает на некие революционные силы, сохранившиеся в обществе, но описывает их в крайне общих выражениях. Он — за неимением, невидением иных альтернатив, можно предположить, — поет песню социализму и марксизму<sup>13</sup>. Также он сокрушается, что левые зажаты и в меньшинстве, питает надежду на их усиление и выход на общественную арену. Что ж, в наши дни левое движение захватило всё: от умов публичных интеллектуалов на всей планете до царящей в западном обществе идеологии (политкорректность, вокизм и прочее).

Левая, хоть и не в представлении Маркузе и классических левых, идея стала общепринятой — и стало значительно хуже, гайки закрутили ещё на пару оборотов. Маркузе очень надеется на бунт молодого поколения, но признаёт, что оно подводит, иногда слишком пассивно. Степень пассивности и инфантилизма молодых возрастает в геометрической прогрессии от поколения к поколению, и представить, что зумеры восстанут против капиталистического произвола, не решится, уверен, даже самый смелый фантаст, мечтатель или сатирик.

Итак, что же делать? И Маркузе в который раз повторяет размытые формулировки про некие антисистемные силы, что поднимутся на бой. Когда, где и под каким знаменем, не указывается. Хорошо, допустим, как и фантазер Фокс Малдер, I want to believe.

Но уже с ранних страниц понятно, что у Маркузе существует эпистемологическая проблема более глобального свойства. Вся эта критика хороша и справедлива, однако же направлена против капитализма, который является лишь следствием, одной из манифестаций, пусть и могущественных, общей неправильности современного мира. Посему правую мысль полностью забыть не удастся даже на время, как в целом, так и в частности — например, критика Маркузе со стороны Эвола оказывается всё же справедливой. «Сила мифа Маркузе в том, что он сумел придать форму смутному порыву бунта, который, не имея никаких принципов, возмнил, будто нашел в нем своего философа, не заботясь о том, чтобы вникнуть глубже, отличить положительное от отрицательного, как требует серьезное исследование. В действительности Маркузе мог внести определенный вклад в критику современной цивилизации, но лишь как эпигон той группы мыслителей, которые начали эту работу до него, сам же он не предложил ничего действительно весомого, что могло бы послужить знаменем войны. <...> Предпосылки подобной критики уже можно найти у Токвиля, Дж.Ст.Милля, А.Зигфрида, и, конечно же, у самого Ницше»<sup>14</sup>, пишет Эвола и потом скромно указывает и на те идеи, которые он озвучил раньше Маркузе<sup>15</sup>. Общий же итог вопросов Эвола к Маркузе в том, что провозглашаемое последним восстание «в чем-то правомерно, но лишено положительного содержания и всякой надежды»<sup>16</sup>.

И здесь, конечно, сквозная тема всех наших авторов. Они критикуют капитализм слева и справа, но расходятся в том, как его исправить. Пеги же, например, критиковал с обоих направлений. По этой причине он вдохновлял во Франции и католиков-националистов, и Фуко—Делёза—Латура—Бадью. Как то было с Руссо, от которого пошли как социалисты, так и фашисты во Франции. Почему левые и правые не могут объединиться, если не для устройства идеального будущего, то хотя бы для свержения капиталистической матрицы, цель-то более чем достойна? — вопрос, конечно, риторический.

Вернемся же вновь к разговору о тех, кто под критику современности и представления о её кардинальной перестройке подкладывал мощную, как динамит Ницше, идейную основу.

*Эволюционный традиционалист-седевакантист*

**Герд-Клаус КАЛЬТЕНБРУННЕР. Элита. Воспитание на случай чрезвычайной ситуации / Пер. с нем. А. Черного, научная редакция и примечания Ф. Фомичева, под общей редакцией Д. Житенева и А. Цыганковой. — М.: Silene Noctiflora, 2025. 192 с.**

Эта красиво изданная книга будто предназначена вести дискуссию с предыдущим оратором Маркузе. Ведь автор, как сообщает уже аннотация, «был из тех интеллектуалов своего поколения, которые вступили в противодействие с культурной революцией 1968 года и её последствиями». Если считать европейские студенческие восстания 1968 года тем, чего чаял Маркузе, то вот же оно! Но Кальтенбруннер видит тех, кто может радикально, а не на уровне бузы на улицах и последующей быстрой инкорпорации протеста системой, преобразовать действительность совершенно иначе. В духе того эпиграфа из Гофмансталя, который он предпосылает второму немецкому изданию: «Группа, что стремится создать новую действительность взамен гибнувшей, должна, по крайней мере, воспринимать саму себя как элиту, чтобы стать таковой и для грядущей эпохи, если труд её не был напрасным». Изданная впервые в оруэлловском 1984 году (а дальше в тексте будет процитирован «Скотный двор») книга и развивает эти свои темы на фоне формального торжества того, о чем писал Маркузе: «Во второй половине 1970-х годов в условиях комплексного кризиса Запада в целом и ФРГ в частности, а также на фоне усиливающегося террора со стороны левых экстремистов...»<sup>17</sup> (из комментариев редактора).

Но кто же такой Герд-Клаус Кальтенбруннер (1939—2011), в нашей стране известный очевидным образом минимально? Можно узнать из по-хорошему пространного послесловия Ф. Фомичёва, и фигура Кальтенбруннера, одного из главных интеллектуалов консервативного движения второй половины XX века, того стоит. В качестве первого знакомства-аннотации приводится высказывание биографа Кальтенбруннера: «Эссеист с мировым именем, культуролог и мастер портрета интеллектуальной истории, элитарный, энциклопедически образованный мыслитель, полиистор и духовный идеалист, консервативный интеллектуал и хранитель традиции». Знать таких людей точно нужно, дань им отдать.

Родился в Австрии, к нацистскому Кальтенбруннеру родственного отношения не имел, переехал в Германию. Где работал в различных издательских домах, пытался издавать, конечно, литературу консервативного толка. И из одного издательства он был удален как раз под давлением протестных масс имени Маркузе: руководство издательства «попало под сильное давление левой общественности и студенчества после того, как Кальтенбруннер издал большой сборник статей под названием “Реконструкция консерватизма”». После этого он перешел в католическое издательство, где запустил принесшую ему имя серию Initiative. К концу жизни он ушел в глубины тех тем о духе Европы, которые его занимали: «В работах 1980-х годов все большее внимание Кальтенбруннер уделял истории европейского духа, а в 1990-е фундаментально занимался религиозно-философскими темами и сюжетами из истории христианской мысли и культуры». Пока же он предпринимал и короткие путешествия по верхним слоям этих тем, вступая в дискуссии на актуальные темы: экологическую, гендерную,

«проблему культурного и психологического влияния технического прогресса, о феномене инфантилизации общества, упадке культуры и языка, пагубном влиянии медиа» и т.п.

На 1980-е же приходится уход мыслителя с поверхности политического — из-за происходящего в политике при Гельмуте Коле он полностью разочаровывается как в политике, так и в консерватизме, возможности его реализации. От того внешнего проявления, которым являлась (могла бы являться, да не получилось) консервативная политика, он уходит к тем основам, из которых она произошла и произросла. В беседе 1984 года он признается, что отдаляется от консерватизма, «скорее, я бы определил себя как эволюционного традиционалиста». И, действительно, традиционализм всё сильнее входит в его мысль и дух, «определенное влияние на это смещение акцента оказали работы Рене Генона, Юлиуса Эволы и в особенности католического представителя традиционалистской школы Леопольда Циглера». И даже из основания более глубинных тем, он говорил о современности, вступал — всё то же «восстание против современного мира» Эволы и других традиционалистов — в противотечение с современностью. Он выступает против той мазохистской схимы, что приняла на себя Европа. О, он совершенно неполиткорректен и перпендикулярен повестке, когда говорит о том, что «Европа и белая цивилизация в целом представляются в качестве абсолютного зла». И даже едко троллит: «Разве Платон, Декарт и Кант — не детский лепет, когда им противостоит индийский гуру? Что значит Бах, Моцарт или Бетховен перед звуками барабанов в первобытных джунглях и могучим ритуалом индейцев, отдающихся танцу духов?» Кальтенбруннер говорит то, с чем можно не соглашаться, спорить, с отвращением отвергать, но это то, что безусловно ценно хотя бы потому, что позволяет взглянуть на факты не в общепризнанной оптике, а под другим углом, дает шанс другое мнение услышать. Полемизируя с покаянием и самобичеванием Европы, он говорит не только о том, какие цивилизационные блага Запад принес, это-то и понятно, но и — что колонизация была и обратная, был и неевропейский империализм с порабощением, геноцидом, разграблениями территорий, «жертвами которых, как правило, становились именно народы Старого света — от испанцев на западе, до греков и балканских славян на юге и русских на востоке Европы».

«“Обесценивание всех аскетическо-героических ценностей” у формирующихся во всех сферах современного общества элит, а также всеобщая пацификация, феминизация, избегание любой формы враждебности ведет, по мнению Кальтенбруннера, к деградации и разложению демократических порядков и институтов, нейтрализует творческую силу европейских народов и лишает их способности к политическому мышлению в чрезвычайной ситуации». Нынешняя чрезвычайная ситуация, когда ЕС предпочитает воевать, подначивая боязливо из-за угла и кидая денежные подачки, а деньги на оные ворует у другой стороны конфликта, тому подтверждение.

На фоне всего этого упадка Кальтенбруннер призывает, по сути, вернуться к идеалам позднего Средневековья — аскезе монашеского и рыцарского служения, той аскезе, что обязательно стоит за свершением любого рода. И это то служение, потенции которого были полностью утрачены в модерное европейское время: «...Шел процесс утраты всех индивидуальных, социальных и трудовых добродетелей, который провозглашается освобождением от сковывающих авторитарных норм. Созидательное общество сменилось обществом потребляющим, обществом паразитическим — аскеза,

пускай даже вынужденная, согласно Кальтенбруннеру, являясь предпосылкой любого творческого созидания, теперь была утрачена».

Про религиозное служение интересно отметить аспект, приводимый Фомичёвым, что Кальтенбруннер был не просто католиком — «он солидаризовался с седевакантизмом, а со временем его христианство приобрело всё более подчеркнутый мистико-эзотерический характер». Седевакантизм же — традиционное католическое течение, не признающее легитимность Пап после Второго Ватиканского собора из-за заигрываний престола с прогрессистскими тенденциями. Так, можно вспомнить, что и Александр Дугин — старообрядец, вернее, единоведец.

Кальтенбруннер же, будто развивая все эти векторы, к концу жизни стал полным анахоретом. Лишь два блиц-интервью за десять лет. Жил без телефона, радио, компьютера, принимая очень редких посетителей. Совершенно справедливо считая, что «шум — бич нашего существования, один из самых страшных» и всей музыке предпочитая «музыку тишины», он алкал и абсолютной чистоты — «мой сад и моя библиотека» на земле, «под куполом небес, не слыша шума самолетов и не видя их следов» выше.

Ещё тысячестраничные книги о Пресвитере Иоанне и Дионисии Ареопагите как-то четко укладываются в эту тенденцию ухода от современности.

Опять же, если говорить о рифмах, то подобный рафинированный интеллектуализм и жизнь в стороне и аскезе смыкается с тем, о чем пишет в этой книге Кальтенбруннер, — об элитах. В другом приведенном пространном эссе — и о тайных обществах, но эту тему оставим на сей раз в стороне. Итак, он исследует феномен элитизма. Цитируя Георга и Бенна, приводит разнообразные примеры, от древности (Библия, ветхозаветный Израиль) до Грамши, Солженицына (! — писатель как вестник и представитель) и того же Маркузе (и даже вполне сочувственно — «здесь следует вспомнить Герберта Маркузе, который разрабатывал идею образовательной диктатуры»). У Кальтенбруннера, очевидно, есть определенные политические взгляды и предпочтения, но он абстрагируется от них, говорит о вещах, для разных режимов универсальных. «Эти процессы возникают автоматически вследствие объективной необходимости и проистекают из функциональных потребностей индустриального общества независимо от того, организовано оно по капиталистическому или социалистическому принципу». Самому демократическому или коммунистическому обществу нужны элиты, они возникают сами по себе, как мы увидим дальше. И те же большевики прорвались к власти как маленькая по началу элитарная группировка, и коммунистические правители скоро сформировали из себя элиту, приводит он примеры. Элиты были всегда: «...Будь то апостол Павел, Кромвель, Джефферсон, Робеспьер, Бабёф, Маркс, Ленин, Мао или Пол Пот и красные кхмеры». Не все имена из приведенных хочется даже произносить, поэтому приведем лучше его примеры мыслителей-элитистов: это Пифагор, Вильфредо Парето, Отмар Шпанн, а также Цицерон, Гиббон, Доносо Кортес, Роберт Михельс и Гомес Давила<sup>18</sup>. Понятие элиты — и сами элиты — прожили долгий век, жили и живут всегда, подчеркивает Кальтенбруннер. «Неслучайно величайшим мыслителем-элитистом античности был Платон», а его идеи, пройдя через эпоху Высокого Средневековья, обсуждаются и поныне, например, в концепции истинного государства Отмара Шпанна. Здесь можно было бы, кстати, привести и другую линию — ведь идею кастовости и иерархии актуализировал Рене Генон и за ним другие традиционалисты, а возводили

они их ещё дальше и глубже, к абстрактному Золотому веку и менее абстрактной индийской древности. И либеральным обществам так же не обойтись без элитарных структур, это, как покажет он дальше, такая кристаллическая структура, что фиксирует, держит изнутри общество любой окраски. Австрийско-немецкий «свободный исследователь»<sup>19</sup> приводит высказывание испанского либерала Сальвадора де Мадариаги: «Вопреки внешней видимости, либеральные демократии, возможно, даже больше зависят от лидерства, чем другие, более авторитарные формы правления, ибо <...> их тенденции к ослаблению пружины власти должна противодействовать более высокая степень авторитета со стороны их лидеров» (нет ли в этом авторитаризма под маской либерализма? — спросим мы в скобках). Итого, «элиты существуют во всех социальных системах, они формируют каждую социальную структуру, каждую культурную эпоху. История — не борьба классов, но драматическое состязание элит». Согласятся, пожалуй, не только конспирологи, благо — вот здесь можно порассуждать, как некогда маргинальные идеи входят в общественное сознание на правах аксиом — уже самые массовые новости пишут о воле и состязании элит того или иного государства или надгосударственного образования. То же, что Кальтенбруннер советует (рекомендует, хочет сам), это — обновляемые элиты. Не наследственные, а — приходящие каждый раз заново за счет своих выдающихся талантов. Он не приводит этот пример, но я бы вспомнил систему экзаменов в Древнем Китае<sup>20</sup>, когда самый бедный крестьянский сын мог, за счет успешного прохождения всестрановой системы тестирования, возвыситься до самых высот управления государством. Кто-то же вспомнит здесь, возможно, пресловутый «социальный лифт», но тот как минимум часто бывает заблокирован предыдущими элитами у власти... «В условиях демократии, стремящейся вот-вот превратиться в торгующий завистью механизм самообслуживания...» Кальтенбруннер противопоставляет этой вязкой системе то, что очень оправданно можно сравнить с концептом героического отшельничества ушедших в лес Эрнста Юнгера. Цитируя уже Б.Рассела, он пишет о том, что «существуют люди, которые обладают мужеством отказаться от подчинения, при этом не выражая стремления к господству, влекущему за собой желание повелевать. Такие люди нелегко встраиваются в социальную структуру и так или иначе ищут убежище, чтобы наслаждаться свободой в относительном уединении. Порой люди с таким темпераментом играли важную роль в истории...» Да, те, кого мир не поймал, могли — если того желали, конечно, — поймать ответно его самого.

Так что же такое эта самая элита, как воспринимает и преподносит её Кальтенбруннер? Начать следует со словарных определений, с того, что слово это в современном мире ещё не табуировано, но имеет для определенных кругов четко выраженные негативные коннотации: «Настоящим символом псевдодемократического кретинизма, способствующего духовно-политическому оскудению ФРГ, является то, что одного лишь упоминания слова “элита” достаточно, чтобы вызвать у большинства наших современников, в особенности у влиятельных представителей “прогрессивной” интеллигенции, такие ассоциации, как “привилегия”, “демонтаж социального государства”, “высокомерие”, “социальная реакция”, да и просто “фашизм”. Так же, как “отечество”, “родина”, “народ”, “нация”...» Интересно, как в этом случае не изменилось абсолютно ничего! Элитарность, пишет Кальтенбруннер, сделали чем-то устаревшим, архаизмом додемократических эпох (сейчас, правда, добавлю, присвоили

себе маркетологи — элитные товары, членские и банковские карточки и даже бизнес-такси класса «элит»...). Тогда как изначальным и правильным семантическим полем понятия остается такой синонимический ряд, как: благородный, изысканный, знатный, выдающийся. Обладающие этими свойствами группы необходимы оказываются. При том, и тем более при том, что «...те партии, идеологии и движения, что почти с религиозным рвением посвящали себя идее равенства, неоднократно уличались в создании нового неравенства и даже оправдывали его — более или менее лживыми доводами»<sup>21</sup>. Но дело даже серьезнее и глубже этих лицемерных поверхностей: «Даже тот, кто сознательно позиционирует себя как антиэлитист, способен выжить лишь потому, что подспудно пользуется ресурсами, против которых формально выступает».

Элиты же, как уже отчасти ясно, оказываются важнее, чем нефть и прочие источники энергии и богатства. «Элиты нужны нам на государственно-административном уровне не меньше, чем в экономической, производственной и научной сферах, а также в области фундаментальных исследований и большой философии, формирующей мировоззрение и общую систему смыслов. Элита, понимаемая как созидательное меньшинство — всегда нечто немногочисленное и редкое, — является одним из важнейших активов нации». И речь тут, конечно же, не о партийной или о какой-либо другой «зажравшейся» элите, но о совсем другом, выраженном в ещё одном понятийном ряде: «служение, самоотречение, скромность, самодисциплинированность в выполнении повседневных обязанностей, а также самоконтроль и самосовершенствование во имя общего блага». Ведь «в чрезвычайных ситуациях определяющей силой становятся не протестующие недоучки, а целеустремленные отличники, не средние, а лучшие». Здесь уместно оказывается заметить, что протестующие массы чаще всего деконструктивны. А, к слову, роли аристократии касался отчасти и Михайловский, приводя высказывание Ясперса о том, что германская аристократия духа должна противостоять техническому прогрессу, массовизации общества и невыносимым формам господства.

Можно предположить и даже утверждать, что если вынести элиты за пределы социологии и экономики, то в истории они предстают как носители формы, а не массы. Масса — это материя истории, элита — ее эйдос. Без большой философии элиты неизбежно деградируют в технократию. Когда философия исчезает, её место занимают либо идеология, либо рынок. Поэтому речь должна идти не просто об элите, а о метафизической элите, той, что способна выдерживать противоречия, мыслить в длинных временных циклах и формировать образ будущего (лишь декларируемые ныне бизнесом «проекты в долгую»). У Кальтенбруннера элита выполняет функцию удержания вертикали между и осуществляет перевод трансцендентного в историческое. Возвращаясь к формуле Пеги, «история по сути своей горизонтальна, а память по сути своей вертикальна». Без элиты общество утрачивает высоту эйдоса, культура становится плоской, а история — циклом потребления и забывания. Современность Кальтенбруннер описывает как эпоху статистики и рейтингов, где большинство превращается в аргумент. Но истина, смысл и форма никогда не были делом большинства. Отсюда — структурная ненависть к элите. Истинная элита, по Кальтенбруннеру, не может ориентироваться на одобрение, искать легитимизацию в лайках и говорить языком толпы<sup>22</sup>. Новые элиты нельзя учредить или проинвестировать, посему элита все же не актив, а живой орган. Его можно только выстрадать, вырастить

и сохранить, как многолетний бонсай, а не как инстантное поле селекционной генетически модифицированной сои.

Элиты были всегда, и, как и сейчас в приведенном примере с «заглушками» Галковского / «ментальными тюремными решетками» Слотердайка на самое слово, возникали вокруг них и столкновения, «о чем свидетельствуют ожесточенные конфликты между жречеством и царской властью в Древнем Египте, между папской Церковью и императором в христианском Средневековье». Конфликт же с демократическим строем оказывается мнимым. Кальтенбруннер подчеркивает, что он отнюдь не против демократии, как хотят представить его враги, а элиты продуцируются, как уже показывалось, и внутри самого либерального-демократического строя даже дефолтно<sup>23</sup>: «...Каждый избирательный акт имеет “элитистский” аспект, поскольку способствует формированию или утверждению элиты». Но, возвращаясь к его мысли и чуть экстраполируя ее, эти выборы — не совсем то, что способствует формированию настоящей элиты, потому что троечники не могут выбрать пятерочников. Но если пятерочники будут выбирать (из) себя, то не замкнется ли круг? Здесь, надо понимать, сложно и тонко.

Тем более что и сами элиты могут если и не конфликтовать внутри одного государства, но быть разобщены; так, культурные и экономические элиты определенно отнесены к разным стратам.

Так же прaxis элит меняется со временем. Раньше едва ли не главным маркером принадлежности к элите была возможность, право на досуг, теперь, наоборот, элиты отличает напряженный активизм. Классический досуг, я бы заметил, был не отдыхом, а освобождением от необходимости (у Аристотеля — условие созерцания и политики, у римлян — *otium*, как противоположность *suete negotium*). Метафизически это означало медленное мышление, формирование долгих смыслов, не внутри нужды, а над ней. Но труд досуга в современных его формах более не освобождает, он стал формой отвлечения и не производит смыслы. Поэтому элита больше не может маркироваться досугом, он лишился символического веса. Замечу также, что и противоположная крайность весьма опасна. Если элита полностью растворяется в активизме<sup>24</sup>, она перестает быть метафизической, да, она все еще контролирует процессы, но не задает вектор, управляет, но не формирует. Элита будущего — та, которая сумеет осуществить синтез интенсивного действия и высокого досуга, *praxis* и *schole*<sup>25</sup>, скорости и вертикали смысла.

При этом, утверждает Кальтенбруннер, «в число необходимых для такой естественной аристократии условий» должен быть включен «досуг для чтения, размышлений и обмена мнениями». Как хорошо говорится по-английски, *I couldn't agree more*, я более чем согласен!

#### ПРИМЕЧАНИЯ:

<sup>1</sup> Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Евгения за интересные беседы по поводу Пеги и далеко не только его.

<sup>2</sup> Сразу оговорка и извинение. В переводе везде значится «современность», тогда как термин «модерн» представляется лично мне гораздо более уместным и понятийно корректным.

Я позволил себе сделать соответствующие микрохирургические изменения в цитируемых отрывках.

<sup>3</sup> «Для начала XX века можно считать Шарля Пеги лучшим представителем богословской эстетики, поскольку он осуществил на почве католицизма в точности такой же полемический поворот против “духа системы”, какой Кьеркегор осуществил против гегельянства», — писал о нем Г.-У. фон Бальтазар в своей статье «Образ Пеги». См.: *Пеги Ш. Избранное*. — М.: Русский путь, 2006. Цит. по: <https://predanie.ru/book/88358-izbrannoe/>

<sup>4</sup> Смерть, пишет Пеги чуть дальше, это вообще величайшее унижение, — звуча при этом весьма традиционалистски.

<sup>5</sup> Да и в «Клио» тема эта скорее вторичная, за более капитальной критикой лучше обратиться к «Деньгам».

<sup>6</sup> Здесь, кстати, любопытно, повторы не ради стилистической экспрессии, а семантически нагружены. Потому что по-французски *temporel* как временной, он же «светский», «мирской» и даже «профанный», — совсем не то же самое, что *temporaire* — то есть временный.

<sup>7</sup> При этом, приводит Михайловский высказывание немецкого историка идей Т.Рокремера, в позиции Хайдеггера всё было довольно уравновешенно, без перекосов: «Как и многие критики современности в Германском рейхе с 1880-х годов, Хайдеггер не был луддитом. Ностальгия по прошлому, желание спасти ряд традиционных черт сочеталась с определенным видением будущего, альтернативного модерна, внутри которого позитивные элементы прошлого были бы встроены в каркас промышленного и технического развития общества».

<sup>8</sup> См. её обзор: *Чанцев А.* Буддийская экономика, суфийская агрономия, или Генон ответит за всё // Перемены. 2025. 6 декабря (<https://www.peremeny.ru/blog/29919?>).

<sup>9</sup> Самое же естественное применение техники отличает, по мнению некоторых философов, изначально приданная ей противоестественность: «Вся техника до сих пор была противоестественной, противоприродной, потому что она следовала принципам, которые нигде в природе не проявляются в таком виде: например, резание прямым лезвием, чисто круговое вращение колеса, баллистическая кривая полета стрелы, выпущенной из лука, связывание узлом и так далее. Техника на протяжении тысячелетий была аллотехникой (*Allotechnik*), то есть техникой, созданной для выполнения противоестественных, противоприродных функций и действующей на принципах механики, соответствующих абстрактной геометрии. Только сейчас достигнут рубеж, за которым техника начинает быть техникой, подобной природе, — гомеотехникой (*Homöotechnik*), а не аллотехникой. Она уже не порывает столь резко с *modus operandi* природы, она приравнивается к её образу действий, кооперируется с природой, встраивается в процесс природного производства живого, который поддерживается на основе долговременно сохраняемых успешных образцов, обретенных в ходе эволюции. Тут появляется новая форма кооперации и симбиоза со старой природой — процесс, который вызывает такую же неприязнь, какую вызывала и первая техника». *Слотердаик П., Хайнрихс Г.-Ю.* Солнце и смерть: Диалогические исследования / Пер. с нем., примеч. и послесл. А.В.Перцева. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2015. С. 199—200.

<sup>10</sup> Объем книги справедливо может смущать — здесь, как на старых аудио и видеокассетах, «дозаписан» ещё и «Одномерный человек». Его, конечно, мы разбирать уже не будем.

<sup>11</sup> Книга писалась, как и «Одномерный человек», в Америке и во многом рассчитана на внутренний американский рынок. Поэтому на страницах постоянно присутствуют американские кампусы и президенты, хиппи и «Чёрные пантеры».

<sup>12</sup> О том, что революционности следует быть не только высокой, но и нести в себе религиозный, духовный потенциал, «прошитый» уже в самой этимологии слова «революция», Маркузе, как и подавляющее большинство революционеров, и не мыслит в принципе:

«Благодаря расширенному понятию революции как обращения, как поворота в жизни, как поворота в развитии мира, как конвертации всех текстов мы *volens nolens* заходим на территорию Августина и его *ipso* в горячую зону христианской теологии истории. Она всё ещё бесполезна для исправления наивности бесхитростно-современных концепций революционного действия — пусть даже в остальном и неприемлема для людей, которые хотят быть людьми от мира сего. Согласно концепции Августина, процесс революционного переворота был запущен благодаря тому, что Бог вочеловечился». *Слотердаик П., Хайнрихс Г.-Ю.* Там же. С. 32. Впрочем, религиозность в революциях присутствовала — и среди французских революционеров были католики-универсалисты, которые мыслили в категориях обращения, и многие советские революционеры мыслили в категориях создания новой религии — но от этого лучше не стало. Кровавее только стало.

<sup>13</sup> При этом Маркузе был, в советских терминах, ревизионистом. Советский опыт громил и не считал даже социалистическим. См. его работу *Soviet Marxism* 1958 года. Которая, согласно некоторым современным исследованиям, была создана в рамках его сотрудничества с ЦРУ. Маркузе входил и в американскую комиссию по денацификации Германии и с предшествующей ЦРУ структурой сотрудничал вполне официально. Так что ещё вопрос, как использовался бы весь этот дискурс «студенческих бунтов» и «критики тоталитаризма»...

<sup>14</sup> *Эвола Ю.* Миф Маркузе // Эвола Ю. В тени уходящего мира / Пер. с ит. Д.Извекова. — СПб.: Imperium Scriptorum, 2025. С. 161—162.

<sup>15</sup> Собственно, Эвола как никто другой описал потенции освобождения от современного мира. И если за свою программную и итоговую книгу «Оседлать тигра» он обрался, развивая идеи «Рабочего» Юнгера, то развил и экстраполировал и юнгеровский концепт ухода в лес: «Согласно Эволе, *platinovskoe arhele panta*, то есть “избавиться от всего”, должно стать сегодня основным лозунгом для тех, кто ясно осознает действительную ситуацию. Формула “оседлать тигра” как раз соответствует этому состоянию. Тот тип человека, к которому обращается Эвола, может — и должен — принять силы, которым он не способен противостоять, чей поток необратим и неподконтролен ему ни в коей мере, таким образом, чтобы использовать эти силы для своего освобождения — несмотря на то, что именно они оказывают разрушительное воздействие на его современников». *Бутузов Г.* Школа саламандр (Рец. на «Оседлать тигра» Ю.Эволы) // Волшебная гора. № XI (2005). С. 207.

<sup>16</sup> *Эвола Ю.* Там же. С. 167.

<sup>17</sup> Усиление «Фракции Красной Армии» и прочих — как раз и было провалом иллюзий глобального «мая-68» о возможностях массовых протестов. Что похоже на формирование «Чёрного передела» и т.п. после провала народников.

<sup>18</sup> Из тех, кто не упомянут в этих рядах. Что обществом должна управлять небольшая и тайная (привет тексту про тайные общества!) группа мудрецов, говорили ещё эллины и Аристотель, писал об этом и Маймонид, которого в Европе прочли очень хорошо.

<sup>19</sup> Как характеризует его в послесловии Гётц Кубичек, один из самых видных издателей, публицистов и культуртрегеров консервативного толка, посетивший в ноябре 2025 г. Москву с закрытой лекцией.

<sup>20</sup> Заслуживает дальнейшего осмысления тот факт, что именно этот момент в конфуцианской модели управления в Японии, очень многое заимствовавшей у Китая, устранили. Возможно, потому, что японцы всегда были склонны не к горизонтальной демократии, а к четко выстроенным иерархическим структурам, что находит выражение даже в повседневном языке (т.н. степени вежливости).

<sup>21</sup> Вообще же, когда Кальтенбруннер выступает против эгалитаризма, следует иметь в виду, что книга его писалась в конце семидесятых — начале восьмидесятых, когда в Европе/

США-Канаде был пик Welfare State, а эгалитаризм был в некотором смысле «повесткой». Но уже в середине восьмидесятых прорастает тэтчеризм и рейгономика. Да и неолиберализм признать истинно эгалитарным вряд ли смогут даже самые верные его сторонники...

<sup>22</sup> Случай «парадокса законодателя» по Руссо: он должен говорить на «языке народа», но в этом языке нет массы важнейших понятий.

<sup>23</sup> Даже при том, что общий вектор очевидным образом таков, как его сформулировал Юнгер: «Преступлением стало быть или иметь больше других. Отвыкнув от сильных опьянений, мы возненавидели силу и мужей, а массу и равенство провозгласили новыми богами. Если масса не может стать как немногие, то пусть немногие станут как масса». Юнгер Э. Война как внутреннее переживание / Пер. с нем. Эль-Сибиря. — СПб.: Копьеносец, 2025. С. 79.

<sup>24</sup> Как, например, Жижек, высказывающийся, как наши блогеры, по всем поводам и выпускающий по две книги в год.

<sup>25</sup> В «Надгробной речи» Перикла (у Фукидида) звучит почти программная формула — «Афиняне умеют созерцать прекрасное без изнеженности и действовать без утраты меры». Цит. по: <https://oneeyedman.net/teaching/fulltext/thucydides.html?> Пер. с англ. мой.

*Ольга Балла*

## Корабль другого в океане чувств

**Андрей ПЕРШИН. Войти в реку дважды: Контрапункты. Сборник эссе. — Чебоксары: CheBOOKsary, 2025. — 90 с.**

Похоже, «контрапункты» — авторский жанр, введённый в литературную практику поэтом, эссеистом, литературным критиком и фотохудожником Андреем Першиным. К мысли о том, что это именно жанр (или, если угодно, поджанр эссеистики), особенный формат художественного мышления со своими вполне устойчивыми и узнаваемыми чертами, располагает прочтение этой небольшой, но на редкость насыщенной (разного рода культурным материалом) книжечки одним взглядом с предыдущим сборником эссеистики автора, вышедшим три года назад: «Сопоставления: диалоги визуального и поэтического»<sup>1</sup>. В главах той книги автор дерзко обнаруживал общие черты у явлений, чрезвычайно далеко отстоящих друг от друга во всех мыслимых отношениях: принадлежащих не только разным искусствам (поэзии и живописи), но очень разным культурам и даже исторических эпохам — расположенных, как это сформулировал сам Першин, «в чрезвычайно удалённых точках условного спектра выразительных возможностей». Так, например, по мысли автора, в осмысленный диалог между собой способны вступить даже картина китайского художника Ма Юаня, жившего в XII—XIII веке, и стихи ирландского поэта-лесоруба XX века Ханса Бёрли, вряд ли слышавшего о своём китайском собеседнике (это, пожалуй, наиболее удалённые друг от друга точки, между которыми автор смог установить соответствие — более того, множество таковых. Всех остальных его героев сближало если и не пространство, то — более-менее — время, а чаще всего и культурный круг).

Тогда, в 2023-м, возможно было ещё подумать, что перед нами (только — или, по крайней мере, в значительной степени) картография персонального авторского внутреннего пространства с прихотливыми связями между разными его областями, и обнаруживаемые общности — в первую очередь, когда не единственно, во взгляде смотрящего; что это — исследование куда более устройства самого этого взгляда, нежели чего-то ещё (хотя автор уже тогда предупреждал, что занят совсем не рассматриванием собственного взгляда, что его сопоставления — «это попытка отыскать в чём-то срединный путь, обнаружить общее в логике избранных визуальных

---

<sup>1</sup> Ростов-на-Дону: Prosodia, 2023. — (Про себя).

и поэтических произведений, например, близкие интенции, взаимно проясняющие средства разнородных высказываний»). Теперь, по выходе второй книги, становится понятно, что это система (совершенно независимо от того, что, как мы увидим далее, ничего автор не избегает столь упорно и последовательно, как — мертвящей и ограничивающей, так? — систематичности). Да, общности, спору нет, — во взгляде смотрящего, и да, перед нами в весьма значительной степени картография внутреннего пространства. Но для установления связей и закономерностей — не устаёт показывать нам автор — есть объективные основания, ради их поиска всё это и написано.

Как мы уже видели в первой книге, Першину, представителю сразу двух искусств — словесного и визуального, — видится естественным и плодотворным мыслить двоицами, двойчатками (пытаюсь подобрать терминологию для описания этого способа мышления) — парами, но не устойчивыми, а ситуативными, сводимыми каждый раз в пределах одного акта мыслящего восприятия силой — и произволом, как без этого — авторского воображения. У каждого такого сведения есть своя логика; это, так сказать, произвол структурированный и обусловленный не одними только пристрастиями и опытом автора, но, предположительно, и собственными особенностями сближаемых предметов. Не припомню, чтобы нечто подобное делал, по крайней мере на русском языке, кто-то ещё.

Такое-то сближение далековатых со всеми его правилами — а правила тут, несомненно, есть и должны поддаваться формулировке — и называется заимствованным у третьего искусства, музыкального (нет, даже у двух искусств: у музыки и кинематографа), термином *контрапункт*. В музыке это «одновременное сочетание двух или более самостоятельных мелодических линий в разных голосах»<sup>1</sup>. В кино — и это ещё ближе мышлению Першина, оперирующему во многом зрительными образами, — противопоставление звука и изображения, их «осмысленное несоответствие»<sup>2</sup> друг другу и одновременно их синтез, «приводящий к новым смыслам»<sup>3</sup>.

В новой книге происходит нечто существенно более сложное: в каждой из глав книги в реку одной и той же мысли автор входит не двумя, но многими как будто разными путями.

Главная, *контрапунктообразующая* двоица, однако, есть и здесь — это два типа мышления: понятийное и образное.

Книга начинается с саги о короле Кормаке, побывавшем в Обетованной Стране — в стране снов — и видевшем там чудеса. По мысли автора, история приключений Кормака на невидимой нам стороне реальности «в каком-то очень буквальном смысле иллюстрирует» многое, прежде всего — взятые как пример два определения поэзии, сформулированные уж точно независимо друг от друга: принадлежащее древним мексиканцам — «Ветер из обители богов» — и Эмили Дикинсон, узнававшей поэзию «по тому ледяному холоду, от которого, кажется, уже никогда не согреться» (родство между ними усмотрел уже Эмиль Чоран, которого автор, собственно, и цитирует).

Цитат у Першина в этой книге, пожалуй, даже больше, чем в первой, — столько, что они рискуют растащить его повествование в разные стороны: из текстов стихотворных и (существенно реже) прозаических, из авторов классических и безвестных.

<sup>1</sup> <https://bigenc.ru/c/kontrapunkt-137da9>

<sup>2</sup> <https://online.synchronize.ru/page14948949.html>

<sup>3</sup> <https://wink.ru/blog/chto-takoe-kontrapunkt-v-kino-razbiraem-na-primerah>

Ни порядка, ни системы принципов в привлечении цитируемых к разговору не проследить, но это, по всей вероятности, и не требуется: привлекает их сюда, кажется, единственно вольная ассоциация, мгновенное чувство мгновенного родства собственной мысли эссеиста с припомнившимся прочитанным. И нет, это не исследование высказанных мнений, а именно что мгновенное родство. В результате на одной странице совершенно на равных встречаются норвежский поэт Тур Ульвен с блаженным Августином и современным русским поэтом Екатериной Симоновой, «старинный “Физиолог”, на страницах которого мы встречаем сирен, феникса, единорога, кентавров и горгону», весьма популярный в России XVII столетия, вступает в диалог с Анной Ахматовой, современным (1928—2014) сербским писателем и поэтом Миодрагом Павловичем и арабским мистиком XII—XIII века Бахаудином Валадом, китайский поэт Чжан Хуэймоу и Аристотель — с вряд ли широко известным поэтом Андреем Кульбой, о котором сам Гугл не ведаёт, кто это такой, представляя вместо него какого-то генерал-лейтенанта ФСБ, сам же эссеист предпочитает не тратить времени на объяснения, он не тем занят (ему важно то, что люди сказали, а совсем не то, какими при этом были их социальные и прочие координаты; годы жизни своих собеседников он иногда указывает, но редко и нерегулярно). Это не очень типично (на самом деле, не типично совсем), но понять — по крайней мере, выдвинуть гипотезу, выглядящую убедительной, — ради чего такое делается, вполне реально. Рискнём.

В первом приближении: в этом обилии голосов, более, кажется, теснящих авторский, чем подтверждающих его, есть своего рода смирение, аскеза: автор даёт высказаться множеству своих заочных собеседников, занятых более-менее той же темой, уступает им текстовое пространство. Такой этически значимый жест. Но дело не только в этике (хотя и в ней тоже). Возможно, столь упорное сопровождение высказываемых мыслей их аналогами, своего слова — чужими / другими, такое перенасыщение текста разными именами не таким уж парадоксальным образом призвано указывать на то, что соответствующие мысли — по существу анонимные, ничьи, просто существует множество точек входа в них с разных сторон, но в конечном счёте в одном направлении.

Сама же, до парадоксальности доходящая, разновременность, разноэпохальность, разнокультурность собеседников — не указание ли на то, что для обсуждаемого автором предмета, как для самой вечности, время не имеет значения?

Но в таком случае каков же предмет?

В книге двенадцать глав-эссе, у каждой — своя тема: скорее — тематический круг, довольно разнородный внутри себя, с очень нечётко очерченными границами, но всё-таки с некоторым ядром — или несколькими ядрами; тематический клубок, в который смотаны разные нити; тематическое облако или ком наподобие снежного, разрастающийся в разные стороны. В главе первой, «Другой сон Кормака», такой круг задан темами *сна* и *другого / других*; во второй, «Изначальная белизна», его определяют темы *белого* и *незаполненного*; в третьей, «В человеке живёт вода», ядром становится, как и было заявлено, тема *воды*; в четвёртой, «Цветущая древность», *время*, его природа вообще, но также и *древность* как особенная категория — времени ли, восприятия ли его? — и контакт человека с нею посредством чего бы то ни было. Предмет главы пятой, «Оправдание тени», — *тень*, но тем самым и *свет*; шестой, «Изменчивости детской потакая», — сложный ассоциативный комплекс *детства* и *синего цвета*; седьмой, «Войти в реку дважды», — *предвосхищения* и *пророчества* в поэзии, но ещё и *двойственность*, *совпадения*, *двойничество*, *удвоение*, *близнечество*. Восьмая глава,

«Стать человеком», — о том, что делает *человека* человеком, но и о самой сути становления. Девятая, «Поэтика диалога», — о *диалоге*. Десятая, «Миры мгновения», — о *времени, временности и вечности*. Одиннадцатая, «Во все стороны», — о *взглядах, видении, зрении*, но также и о *движении, о перемещении* в пространстве, а тем самым и снова о *времени*. Двенадцатая, «Лакуна», — о *нехватке и отсутствии*.

От системы всё это, как видим, принципиально и успешно уклоняется.

В первом приближении речь здесь о том, как всё названное видит, отражает, выражает, как справляется с ним поэзия. Можно даже сказать, что таким образом речь в книге идёт о поэтическом понимании, о его специфике — помимо, прежде, поверх его культурных координат, обстоятельств и определяемых ими особенностей, которые тут не рассматриваются в принципе, даже не упоминаются (потому и оказывается возможным располагать в одной плоскости, скажем, Ахматову и Бахауддина Валада). Но — не будем торопиться. Как мы уже заметили, каждая тема, едва будучи затронутой, втягивает в себя всё новые и новые — и поневоле выходит за пределы поэзии как предмета если не исследования, то, во всяком случае, внимания.

Одновременно понятийными и образными средствами, размывая, практически упраздняя границу между ними (что интересно само по себе: так «зеркала», «чистота», «вода» и «свобода», как мы уже видели, оказываются концептами одного ряда, равнокачественными), автор в пределах каждого из тематических кругов, отступая как можно дальше от его ядра или ядер, размышляет — по, опять же, видимости — об очень многом: о коммуникации людей друг с другом, о восприятии и невосприятии при этом другого и чужого, о природе самой мысли: «Мышление это не какой-то мой оплот или берег, это скорее корабль другого в океане чувств»<sup>1</sup>; о роли в ней той самой инаковости, которая затрудняет человеческое общение вплоть до невозможности: «Когда слово подобно форме без направления, а мысль — направлению без формы, именно другой, другое предстаёт возможным опытом их встречи». О соотношении идеи и события: «Если идея проще событий, то не находит места в их черед; если же она равна событиям, то как её различить? Если идея сложнее действительного события, то равна заблуждению, пускай и не всегда им является». О природе аллегорий. О сути понимания, о работе памяти, об устройстве и парадоксах воображения и соотношении его со знанием, памятью, вниманием, восприятием нового («Иногда моё воображение в том, чтобы не знать <...> Такое незнание обнажает пластику памяти и внимания, оказывается интуитивной готовностью к восприятию нового»). Об источниках поэзии («таинственное сопряжение зеркал, чистоты, воды и свободы, плоды которого так часто украшают, а то и составляют поэзию»). Об игрушке как не вещи, но только «химере» её («Не понять за какой её хватать бок, с любого места она начинается. Но, повертев её, охладевашь, — это вроде как чашка без дна, у неё нет оборотной стороны, и для питья она непригодна»). Об уязвимости рационального знания («Возможно, любое рациональное знание человека — это история ошибок, в том числе знание о себе и другом»). О равной важности и равной проблематичности незнания и знания («Пускай знание как свет, но тогда оно не имеет облика, незнание как тень и тревога, но пластично и подчас определяет форму»). О разнообразии чудес и о способе их видеть («...привычный порядок вещей составляет оптику чуда»).

Да, Першин, казалось бы, только и говорит, что о культуре (как системе символов). Однако очевидно, что в культуре, внутри культуры, её средствами он ищет

<sup>1</sup> Знаки препинания и их отсутствие — авторские.

транскультурного, метакультурного — работающего во всех культурах, пусть (отчасти) и по-разному. Он ищет по меньшей мере культурных инвариантов. Если угодно, культурной метафизики, использующей культурную физику для своего осуществления. Но, кажется, он идёт и того дальше и глубже — в сторону метафизики вообще.

Строго говоря, эта книга Першина, как и предыдущая, но, кажется, в ещё большей степени, — акт мышления далеко не в первую очередь художественного, — совершенно независимо от того, что автор изъясняется слогом скорее поэтическим и в подтверждение своей мысли обильно цитирует прежде всего поэтов (и уж подавно не литературоведческого). И даже не культурологического, вопреки своей перенасыщенности и прямыми цитатами, и отсылками, объём которых активно и успешно соперничает с объёмом собственного авторского текста. По существу, по своим ведущим задачам — это мышление философское, свидетельство чему — даже не то, что вторые по значимости собеседники автора в этом разговоре, сильно, правда, уступающие поэтам, — философы, от Аристотеля до Витгенштейна и Гастона Башляра, Джорджо Агамбена и Оксаны Тимофеевой, а сама упомянутая его многоохватность. Говоря о множестве разных (но родственных друг другу в самой глубокой глубине) предметов, автор ищет одного: исходного единства всего сущего.

Сколько бы ни цитировал автор поэтов, речь тут не о поэзии, но о целостности бытия, недостижимой и, обыкновенно, невидимой «по эту сторону вещей». Поэзия потому и важна, потому и появляется в книге первой, сразу же вслед за историей короля Кормака, что, подобно этой истории, «позволяет интуитивно коснуться слитности мира, как во сне» — и на протяжении всей книги помогает автору в поисках больше и лучше, чем что бы то ни было. Но она инструмент — пусть и явно незаменимый. Или, чтобы не огрублять уж настолько, — проводник.

Сага о том, что пережил Кормака по ту сторону всех вещей, пересказанная Першиным в самом начале, важна как метафора именно этой целостности, «слитности».

К этой целостности и отсылают все першинские сопоставления и сближения вещей далековатых, чем более они дерзки — тем настойчивее и отсылают, потому что в ней — сама их возможность, их основа.

*Борис Минаев*

## ПУТЬ К ОТЦУ

В спектакле «Гамлет. Путь к отцу» в московском театре «Эрмитаж» есть момент, прием, который я не сразу понял.

Два шута — потом они будут теми самыми гробокопателями, что покажут принцу датскому череп Йорика — сидят в каких-то норах и, вдруг высовываясь по грудь, сопровождают реплики героев тем, что, набирая воду в рот, — разбрызгивают ее, чуть ли не до первых рядов партера.

«Смеются над нами, шуты гороховые», — подумал я, а потом понял, что это «волны моря», или «шторм», пародия на знаменитые кадры из фильма Козинцева со Смоктуновским: волна накатывает на жутко утрюмые скалы и дико брызжет.

«Зачем море-то пародировать?» — опять подумал я, а потом опять понял, что это пародия на что-то другое.

Возможно, на ту мрачную философскую серьезность, которую мы всегда ждем от этой трагедии Шекспира.

Но ведь и комедией её тоже не назовешь, верно?

И тем не менее...

Этот «Гамлет», может быть, самый необычный из тех, что мне доводилось смотреть — причем идет он четыре с половиной часа, и это, как сказал после спектакля режиссёр Левитин, только четверть текста, изначально написанного Шекспиром. Так вот о комедии. Клоуны, шуты, скоморохи — в эстетике Михаила Захаровича Левитина, худрука театра «Эрмитаж» (который, кстати, недавно отметил мощный юбилей), это вообще главные персонажи. И в зрительном зале непрерывно глядят на нас огромные портреты любимых клоунов: Енгибарова, Никулина, Марселя Марсо, — как бы постоянным напоминанием о том, что слишком серьезные люди в рай не попадают. И искусства, по большому счету, тоже не понимают.

Так вот, принц датский увиден здесь через свою знаменитую рефлексию, или с точки зрения Офелии, или с точки зрения королевской четы, «друзей детства» Розенкранца и Гильденстерна, но... и с точки зрения шутов. А скорей всего, с точки зрения того умершего шута, которого звали, как известно, Йорик.

Нелепыми, неуклюжими, почти цирковыми, пародийными, эстрадно-странными — здесь выглядят примерно все персонажи. Кроме самого главного героя.

Впрочем, и тут возможны варианты восприятия.

Гамлет (Василий Корсунов) весь спектакль — все четыре с половиной часа — находится в невероятном, адском напряжении, в каком бывает человек только накануне психического срыва, или смерти, или подвига — тут это, в общем, как-то всё

вместе. Но если в привычной трактовке (хотел бы сказать шекспировской, но не знаю, скорее — обще-театральной, особенно русской) Гамлет претерпевает целый ряд превращений, изменений, переходит из одного состояния в другое, от попытки развеселиться к полному отчаянию, он всё время разный, — то в спектакле Левитина он как глыбой придавлен своим возможным выбором, он не освобождается от этой невидимой глыбы ни на секунду. (Может быть, в этой не меняющейся интонации он кому-то и покажется смешным, спектакль в принципе такой, что постоянно предлагает зрителю некий выбор.)

Остальные же — делают что хотят.

Король Клавдий (Станислав Сухарев, любимый мой актёр в театре «Эрмитаж») — в отличие от обычного, «нормального», статуарного и свирепого тирана — бегаёт и носится по сцене, пародируя сам себя, всё время впадая в изумление и ужас, падая и снова поднимаясь, он, в сущности, здесь главный клоун и есть.

Что не отменяет, конечно, холодного огня власти, натурально сжигающего его изнутри.

Гертруда (Ирина Качуро) — ничего не понимающая, вернее, отказывающаяся понимать, ещё более пародийна, даже нелепа, как бывает нелеп человек, отчаянно, изо всех сил отодвигающий от себя прямо глядящую на него правду. Живущий как бы с постоянно закрытыми глазами.

Даже Офелия (Мария Глянц) не вызывает глубокого сочувствия и сострадания, хотя с ней всё вроде бы понятно: несчастная любовь, обманутое чувство, поматросил и бросил, — но нет... Кажется, что и она, страдающая, постоянно говорит «не о том». Неправильно как-то страдает.

Привычной — то есть родной, знакомой, с детства близкой — расстановки персонажей никак не получается. Но почему?

А вот именно потому, что «не о том». Не понимают, не верят, не «врубаются» в то, что на самом деле происходит, все персонажи трагедии — причем массово.

Получается, что основной сюжет — в том, что мы все (они все) соучастники глобального преступления, соучастники предательства.

Гамлет понимает это как будто один. Зритель вынужден принять его точку зрения. (Хотя и тут возможны варианты, как я уже сказал — так устроен этот спектакль.)

...Ну действительно, а для чего читать весь этот огромный массив текста, сличать разные переводы, изучать источники, погружаться в контекст — не для того же, чтобы создать из его фрагментов привычную с детства композицию? Или, например, безумно сократив, придумать что-то оригинальное, «молодежное», вольную трактовку, обращенную к «новому поколению»? (Так тоже можно, но не эту задачу поставил перед собой Левитин.)

Здесь другая задача: подобно археологу, очистить приставший к тексту, как корка, слой понимания. Очистить, кисточкой и скребком, — и найти то, что оказалось от многосотлетнего повторения скрыто.

Внимательно прислушавшись — мы этот слой найдем.

Ключом для меня оказалась фраза Шекспира (то есть фраза Гамлета), которая звучит так:

Мириться лучше со знакомым злом,  
Чем бегством к незнакомому стремиться?  
Так малодушничает наша мысль  
И вянет, как цветок, решимость наша  
В бесплодые умственного тупика.

Обычно мы понимаем так: этот пассаж относится только к «философии», проблеме воли, то есть к проблеме самоубийства — смогу ли?

Тот же пассаж в другом переложении:

Нас неизвестность вечности страшит  
И мыслью мы бежим к привычному позору  
Смирясь с полюбившимся нам злом...  
И так сомнениями мучаясь потом  
Ничтожествами предстаём Божественному взору....  
Вот и ответ загадки бытия  
Людьми нас делает лишь пагубная трусость,  
Самообман и прочие пороки.....

Разве это только о проблеме самоубийства?

Смириться со *знакомым*, привычным злом, злом «домашним», уютным, к которому притерпелись, — но для чего?

Чтобы не рушить привычный миропорядок? Своеобразную «небесную гармонию» между злом и добром?

Чтобы не ввергать себя в другое, неизвестное зло, которое наступит после бунта, восстания, протеста?

Это ли не проблема нынешней цивилизации? Мириться со злом, чтобы не открыть новый «ящик Пандоры», а потом ещё и ещё один?

Мириться с системой, чтобы не посеять хаос?

Не поэтому ли так напряжен, так придавлен глыбой выбора *этом* Гамлет?

...Но есть ещё один персонаж в спектакле театра «Эрмитаж» — это Полоний (Павел Мамонов), как бы случайная, по Шекспиру, жертва принца датского, его безумных попыток выбраться из тупика, он выпадает из общего пародийного, шутовского ряда привычных образов — этот человек вполне нормален.

И вот почему. Полоний — чиновник. Слуга государства. Прирожденный бюрократ. Особая порода человека.

И дело не в его услужливости, доносах, мелких расчетах.

Для Полония вообще нет никакой «нормы», даже в отношениях со своей дочерью. «Норма» всё время меняется. Её задают «сверху». Норма — она там, где-то «наверху», на высшей ступени власти, то есть сама власть — это и есть норма.

Если все остальные, включая Розенкранца и Гильденстерна (Александр Овсянкин), включая Офелию и Лаэрта (Андрей Павлов) — не замечают «привычного зла», не понимают, в какой стране они живут, не чувствуют отклонения от «нормы», то для Полония никакого зла просто нет, он ему искренне служит.

Убивая его, пусть по ошибке, Гамлет подписывает себе приговор. Увы, он замахнулся на систему, а не на отдельного человека.

Удивительно ещё и то, что на сцене два совершенно разных принца датских — ребенок (прекрасный юный артист Алексей Сошин) и взрослый.

Присутствие на сцене Гамлета-ребенка делает осмысленными две рискованные вставки в канонический текст отрывков из рассказов Михаила Левитина о своем отце.

И именно с ребенком и взаимодействует тот самый шут Йорик, о котором взрослый Гамлет вспоминает.

Само название спектакля: «Гамлет. Путь к отцу» — становится понятнее, смысл его постепенно раскрывается.

Ушедший отец — всегда загадка, всегда драма, не оставляющая тебя на протяжении всей жизни. Ты всегда хотел бы *больше* знать об этом человеке, который оставил после себя смутную тень, туманный образ, некое представление, уходящее куда-то ввысь.

Этот Гамлет по-детски, пронзительно переживает гибель отца. Потому что он — не только философ, бунтарь, революционер, воин, человек чести — но и просто ребенок.

Он осиротел.

И вот маленький Гамлет размахивает шпагой, взбирается на корабельную мачту, почти плачет и негодует (художник Гарри Гуммель предоставил для этого ему и другим актёрам пространство, где нет места мрачным стенам, дворцовым коридорам, замкнутым и глухим комнатам, это клочок суши, который раскачивается и плывет, скрипит, как корабельная палуба — всё на ней неустойчиво и опасно), — и вот здесь, конечно, для зрителя выбора уже не остается.

Ребенок в нас (и в Гамлете) требует от мира моральной чистоты, справедливости, чести, закона — во что бы то ни стало.

Мы всегда будем сопротивляться «привычному злу» — в глубине ли души, открыто или на словах.

Но будем обязательно.

## Summary

### Nickolaj Verevchkin. Chocolate Pushkin

The plot of the novel begins with the returning of the protagonists into their Kazakhstan town turned into ruins after the collapse of the USSR to care for their dying mother. Twin-brothers. In their childhood the grandmother called one of them Imp, the other was the Thing in itself. The extrovert who used to grab life by the tail now has no family, no home, no work but has a very good practical sense – and the introvert who has become a rather successful prosaist but is obsessed by the dream to write the Book and finally going out of his mind. As is typical of Verevchkin: phantasmagoria of the real life, burlesque, bitterness and the eternal questions – all mixed.

### Sergej Samsonov. Passions According to Nemikhin

“One day he realized he could fly”. Thus begins the story of the life of a “bad good man”, world-famous pianist. We present the first chapter (“The Childish Man”) of the new novel by S. Samsonov. It’s a detailed story. The protagonist with the baggage of the present and the past. A secret city that does not exist on any map. Growing up and unwillingness to grow up. Father, the well-known submariner who for long months disappeared in the ocean – in the eternity of the deaf-and-dumb universe; and Mother who taught her son to play the piano – every sound born by her fingers was like a live being. The story of “anxious, solemn, gala, day, night, war, peaceful – any human time”.

### Poetry

The lyrics of Anastasiya Kamenskaya is a love confession to the Nature where everything – the order and harmony looks like paradise but as if playful. Vigorous, disarmingly candid poetry by Vadim Mesyatz is about searching for the self and fighting with oneself. Poetical space of Elina Sukhova is flooded with the memory which preserves events of the childhood, bright emotions and weekdays, dreams, desires and wonders.

### “Cocoon” and Its Inhabitants

The literature researcher Vladimir Alexandrov draws the readers’ attention to the not so well known fact of existence in the beginning of the 1980s in Saratov of the meta group “Cocoon” (Boris Borukhov, Svetlana Kekova, Nickolay Kononov, Sergey Nadeev, Alexander Pchelintsev). The significance of literary groups always was evaluated not by their programs and manifests but by those who were included. After 45 years from starting the “Cocoon” it turned out that all its members contributed significantly to the modern Russian literature. The author presents the story of the birth of the group and some of the little-known early poems of its members.

### УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Бумажную версию журнала «Дружба народов»  
с любого месяца можно выписать онлайн на сайте **Почты России**  
<https://podpiska.pochta.ru/press/%D0%9F%D0%A0044>

Подписной индекс в каталоге **Почты России** — **ПРО44**

Электронную версию «ДН» можно приобрести на сайте  
<http://дружбанародов.com>

Журнал продаётся в магазине «**Фаланстер**»  
Москва, ул. Тверская, 17  
(вход с Малого Гнездииковского переулка)

Главный редактор: Надеев С.А.

Вёрстка: Елена Жирнова. Корректура: Елена Лапшина.

Дизайн обложки: Степан Лукьянов.

Учредитель и издатель — АНО Редакция журнала «Дружба народов».

Юридический адрес: 115172, г. Москва, ул. Гвоздева, д. 7/4, стр. 1, кв. 88.

Почтовый адрес: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 13, корп. 2, оф. 110.

Электронная почта: dn52@mail.ru. Телефон редакции (499) 5190212.

Сайт журнала: [дружбанародов.com](http://дружбанародов.com)

Свидетельство Федеральной службы по надзору в сфере связи,  
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)  
Эл № ФС77-51026 от 03.10.1912.

ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ  
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА ГУМАНИТАРНОГО  
СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ  
И ФОНДА «РУССКИЙ МИР»





## Читайте!

### Евгений Топчиев. Бурштин. Роман

*Первые часы плена Алёша помнил смутно.  
Из него будто вынули позвоночник.  
Бандиты обмотали ему голову колготами  
Олежкиного сына и полили сверху водкой —  
для дезинфекции. Потом запихнули в джип  
и куда-то повезли. Водка пропитала повязку  
и смешалась с кровью; он всю дорогу втягивал  
ртом эту «Кровавую Мэри» и ни о чём не думал.  
Сразу повели на допрос, раздели до трусов,  
усадили на корточки на холодном полу.  
Спрашивали двое — косолапый мужик  
(переваливаясь, ходил по комнате) и худая  
стерва в камуфляже и с ноутбуком.  
Врать смысла не было. У этих гадов  
откуда-то имелось на него полное досье.  
Стоило назвать фамилию, год рождения,  
как они тут же выяснили место жительства,  
назвали имена мамы и бати и спросили,  
почему не служил в армии.  
— В институте учился, — ответил Алёша.  
На вопрос про место работы ответил:  
безработный.  
— Тю, знаем таких, — отмахнулся косолапый. —  
В России бывал?*

